



Себастьян Жапризо

Дама в автомобиле, в очках и с ружьем

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=120624

*С. Жапризо. Дама в автомобиле, в очках и с ружьем: Рипол Классик; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-8370-0708-8*

Аннотация

Эта блондинка – самая красивая, самая близорукая, самая сентиментальная, самая лживая, самая искренняя, самая бестолковая, самая упрямая, самая беспокойная из всех известных героинь. Дама в автомобиле никогда не видела моря, она убегает от полиции и все время повторяет, что она не сумасшедшая... Однако те, кто ее видят, так не думают. На автозаправке она повредила себе руку. В довершение всего у нее нет с собой денег. Кажется, что, где бы она ни оказалась, ей могут хоть чем-нибудь да навредить, что, куда бы она ни сбежала, она не сможет остаться одна, освободиться от того, что она знает, от того, что она прячет.

Содержание

Дама	5
Автомобиль	28
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Себастьян Жапризо

Дама в автомобиле, в очках и с ружьем

Sebastien Japrisot

La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil

© Editions DENOEL, 1966

© К. Северова, наследники, 2015

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2015

© ООО «ТА Русский Репортаж», фотоматериалы, 2015

© А. Веселов, оформление, 2015

* * *

Дама

Я никогда не видела моря.

Перед моими глазами, совсем рядом, словно морская гладь, рябит выстланный черными и белыми плитками пол.

Мне так больно, что кажется, будто это пришла моя смерть. Но я жива. В тот момент, когда на меня набросились – я не сумасшедшая, на меня действительно кто-то набросился или что-то обрушилось, я подумала: я никогда не видела моря. Вот уже несколько часов меня не оставляет страх. Страх, что меня арестуют, страх перед всем. Я придумала целую кучу идиотских оправданий, и самым идиотским из них было то, что мелькнуло у меня в голове в эту минуту: не причиняйте мне зла, на самом деле, не такая уж я скверная, просто мне хотелось увидеть море.

Еще я помню, что закричала, закричала что было мочи, но крик этот так и не вырвался из моей груди. Кто-то отрывал меня от пола, душил.

Продолжая вот так беззвучно кричать, кричать, кричать, я еще подумала: нет, этого не может быть, просто меня мучит какой-то кошмар, сейчас я проснусь у себя в комнате, настанет утро.

А потом произошло вот что. Заглушая во мне мой крик – я отчетливо услышала этот звук! – раздался хруст кости: это ломали мою руку, да-да, мою руку.

Боль не красная и не черная. Боль – это колодец слепящего света, существующий только в нашем сознании. Но все же вы в него падаете.

Прохладные плитки пола освежают мне лоб. Должно быть, я снова потеряла сознание.

Не шевелиться. Главное не шевелиться. Я вовсе не лежу на полу, а стою на коленях, прижав к животу горящую словно в огне левую руку, я согнулась пополам от боли, я пытаюсь унять ее, но она пронизывает плечи, затылок, поясницу.

Сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы я вижу, как прямо перед моими глазами по белой плитке ползет муравей. Дальше тянется вверх что-то серое, по-видимому – сток умывальника.

Не помню, чтобы я снимала очки. Наверное, они упали, когда меня потащили назад, зажав мне рот, чтобы заглушить мой крик. Нужно найти очки.

Сколько же времени я стою вот так, на коленях, в этой полутемной камерке шириной в два и длиной в три шага? Никогда в жизни я не падала в обморок. То, что случилось сейчас, – это даже не провал в сознании, а всего лишь трещинка в нем.

Если бы я находилась здесь давно, там, на станции техобслуживания, кто-нибудь забеспокоился бы... Я стояла перед умывальником, мыла руки. Правая рука – я сейчас приложила ее к щеке – еще влажная.

Нужно найти очки, нужно встать. Когда я резко, слишком резко, поднимаю голову, пол перед моими глазами встает дыбом, я боюсь, что снова потеряю сознание, но вдруг все стихает – и шум в ушах, и даже боль. Теперь она сосредоточилась в левой руке, я не смотрю на нее, но чувствую, что она сильно распухла и стала словно каменная.

Надо ухватиться правой рукой за раковину и встать. Ну, вот я и стою. Перед моими глазами в зеркале вместе со мною качается мое туманное отражение, и мне кажется, что время возобновило свой бег.

Я знаю, где я: в туалете станции техобслуживания на шоссе в Аваллон. Я знаю, кто я: идиотка, скрывающаяся от полиции. Лицо в зеркале, к которому я приближаю свое лицо так близко, что чуть ли не касаюсь его, скованная болью рука, которую я подношу к глазам, чтобы посмотреть на нее, слеза, стекающая по щеке и падающая на эту руку, тяжелое дыхание в какой-то щемящей тишине – все это я.

Войдя сюда, я положила сумку на полочку под зеркалом, в которое сейчас смотрюсь. Сумка на месте.

Я с трудом, помогая себе зубами, открываю ее правой рукой и ищу вторую пару очков – ту, в которой я печатаю на машинке.

Мое отражение в зеркале стало отчетливым, и я вижу свое плачущее, в грязных потеках, искаженное страхом лицо.

Я больше не осмеливаюсь смотреть на левую руку и прижимаю ее к себе, к перепачканному белому костюму.

Входная дверь закрыта. А ведь когда я вошла, я оставила ее распахнутой.

Нет, я не сумасшедшая. Я остановила машину. Попросила заправить ее. Я хотела причесаться и вымыть руки. Мне указали на белый домик, стоявший поодаль. Внутри было слишком темно для меня, и я не закрыла за собой дверь. Не знаю, случилось ли это сразу или я успела причесаться. Помню только, что я отвернула кран и что вода была холодная... Да, конечно же, я причесалась – я в этом уверена! – и вдруг, словно порыв ветра, кто-то возник за моей спиной, я не знаю кто, какое-то страшное чудовище. Меня приподняло над полом, я кричала изо всех сил, но из моей груди не вырвалось ни единого звука, и не успела я понять, что со мной произошло, как страшная боль, пронзившая мне руку, сокрушила все мое существо, и я оказалась на коленях, одна.

Нужно проверить сумку. Деньги на месте, в фирменном конверте нашего агентства. У меня ничего не украли.

Нелепо. Невероятно. Я пересчитываю деньги, сбиваюсь, начинаю считать снова, и у меня леденеет сердце: меня не хотели ограбить, хотели только одного – я сошла с ума, я сойду с ума! – сломать мне руку.

Я смотрю на нее, на раздувшиеся посиневшие пальцы, и вдруг не выдерживаю: валяюсь на умывальник, снова падаю на колени и начинаю выть. Я буду выть как зверь до скончания века, я буду выть, рыдать и биться до тех пор, пока кто-нибудь не придет сюда и я не увижу дневной свет.

С улицы до меня доносятся чьи-то торопливые шаги, скрип гравия, голоса.

Я продолжаю выть. Дверь резко распахивается, и в каморку врывается ослепительный день.

Яркое июльское солнце все на том же месте, над холмами. И люди, что входят сейчас, склоняются надо мною и говорят все разом, – те же самые, кого я видела, когда вышла из машины. Я узнаю их: это хозяин станции техобслуживания и два владельца автомобилей, судя по всему, местные жители, которые, видно, тоже подъехали сюда заправиться.

В то время как мне помогают подняться, а я безудержно плачу, мой мозг сверлит одна глупая мысль: а ведь вода в умывальнике все течет. Только сейчас я услышала этот звук. Я хочу закрыть кран, я хочу это сделать.

Все с недоумением смотрят на меня, ничего не понимая. Ни того, что я не знаю, сколько времени нахожусь здесь. Ни того, что у меня две пары очков: протягивая мне те, что валялись на полу, они раз десять требуют подтверждения, что это мои очки, действительно мои. «Успокойтесь, ну успокойтесь же», – твердят они, принимая меня за сумасшедшую.

На улице так светло, так спокойно, все предметы до того ужасающе реальны, что я сразу же перестаю плакать. Самая обыкновенная станция техобслуживания. Заправочные колонки, посыпанные гравием дорожки, белое здание с наклеенной на окно крикливой рекламой, живая изгородь из бересклета и олеандра. Шесть часов вечера, летнего вечера. Как же я могла кричать, кататься по полу?

Машина стоит на том самом месте, где я ее оставила. При взгляде на нее прежний страх, который как бы затаился во мне в тот момент, когда это произошло, вновь охватил

меня. Сейчас меня начнут расспрашивать, откуда я еду, что я натворила, я буду нести всякую околесицу, и они догадаются о том, что я скрываю.

У порога конторы, к которой меня ведут, в ожидании стоят женщина в синем фартуке и девочка лет шести-семи. На их лицах – тень беспокойства, но больше – любопытства, как будто здесь происходит что-то интересное.

Вчера вечером, как раз в это время, другая девочка, с длинными распущенными волосами, прижимая к себе куклу, вот так же смотрела, как я приближаюсь к ней. И вчера мне тоже было стыдно. Я даже не знаю – чего.

Впрочем, нет, знаю. Прекрасно знаю. Я не могу вынести детского взгляда. За ним всегда стоит другая девочка – я сама, какой я была когда-то, – и эта девочка смотрит на меня.

Море. Если дело обернется для меня плохо, если меня арестуют и мне придется доказывать – как это говорят? – свое алиби, давать объяснения, то начать нужно именно с моря.

Конечно, это будет не вся правда, но я стану говорить долго, не переводя дыхания, говорить со слезами в голосе, я изображу себя жертвой наивной, грошовой мечты. Для большей убедительности я что-нибудь приплету: приступы раздвоения личности, алкоголиков-предков или же что ребенком я упала с лестницы. Я хочу опротивить тем, кто будет меня допрашивать, я хочу утопить их в потоке сентиментальных небылиц.

Я скажу им: я не ведала, что творю, это была и я и не я, понимаете? Просто я подумала: вот подходящий случай увидеть море. Значит, оно и виновато.

Мне, конечно, возразят: если мне, мол, так хотелось увидеть море, я давно могла это сделать. Достаточно было купить билет на поезд и по приезде остановиться в пансионате «Палава-ле-Фло». Ведь другие именно так и поступают, и ничего – выдерживают, на то и существует оплаченный отпуск.

А я отвечу им, что не раз хотела это сделать, но у меня ничего не выходило.

Кстати, это правда. Вот уже шесть лет я каждый год пишу в различные туристические компании, в гостиницы, мне присылают проспекты, я начинаю приглядывать в витринах магазинов купальные костюмы. Однажды я даже чуть было не протянула руку – так протягивают руку к звонку, но не нажимают его, – чтобы записаться в какой-то клуб организованного отдыха. Две недели у моря на Балеарских островах, дорога в оба конца самолетом, и, конечно, осмотр Пальмы, оркестр, тренер по плаванию и яхта, закрепленные за вами на все время вашего отдыха, хорошая погода, гарантированная «Юнион-Ви», и еще масса всяких соблазнов, так что от одного чтения проспекта уже покрываешься загаром. Но почему-то, сама не могу объяснить почему, каждый отпуск я провожу так: первую половину в главной (и единственной) гостинице Монбриана, департамент Верхняя Луара, а вторую неподалеку от Компьена, у моей школьной подруги, которая живет там «с собственным мужем» и глухой свекровью. И мы играем в бридж.

И это вовсе не потому, что я – человек привычки или страстно люблю карты. И не потому, что чрезмерно застенчива. Наоборот, нужно обладать чертовским нахальством, чтобы потчевать знакомых рассказами о своих похождениях в Сен-Тропезе, на Лазурном берегу, когда в действительности возвращаешься всего-навсего из Компьенского леса. Так что я не знаю, в чем дело.

Я ненавижу тех, кто видел море, ненавижу тех, кто его не видел, и мне кажется, что я ненавижу весь мир. Вот и все. Пожалуй, я ненавижу и себя. Если это что-нибудь объясняет, пусть будет так.

Зовут меня Дани Лонго. Вернее, Мари-Виржини Лонго. Но когда я была маленькой, я выдумала себе имя Даниель. Я вру с тех пор, как дышу. Сейчас-то Виржини нравится мне больше, но разве добьешься, чтобы это поняли другие? Дудки!

По документам мне двадцать шесть лет, по умственному развитию – одиннадцать-двенадцать, рост – метр шестьдесят восемь, волосы довольно светлые, вдобавок я каждый месяц

обесцвечиваю их тридцатипроцентной перекисью водорода; я не уродлива, но ношу дымчатые очки, чтобы скрыть свою близорукость, – это моя уловка, хотя все давно раскусили меня, идиотку, – и единственное, что я умею делать наиболее прилично, это молчать.

Кстати, я никогда ни с кем не заговариваю, разве что попрошу передать мне соль. Дважды я нарушила свое правило, и в обоих случаях это ни к чему хорошему не привело. Ненавижу людей, которые не понимают с первого раза, что с ними не хотят иметь дело. Ненавижу себя.

Я родилась во Фландрии, в поселке, о котором у меня сохранилось лишь одно воспоминание – запах смешанного с грязью угля, который разрешают подбирать возле шахты женщинам. Мой отец – итальянский эмигрант, он работал на железнодорожной станции – погиб, когда мне было два года, под вагоном, из которого перед этим украл ящик английских булавок. Я думаю, он просто не разглядел надпись на ящике – ведь близорукость я унаследовала от него.

Это произошло в годы немецкой оккупации, и весь груз товарного состава предназначался немецкой армии. Несколько лет спустя отец, так сказать, взял реванш. В память о нем где-то в комод я храню серебряную, а может, посеребренную медаль, на которой изображена хрупкая девушка, разрывающая, словно ярмарочный силач, оковы. Каждый раз, когда на улице я встречаю бродячего циркача, демонстрирующего подобный трюк, я невольно вспоминаю об отце.

Но в моей семье не все герои. Меньше чем через два года после гибели мужа, когда уже пришло Освобождение, моя мать выбросилась из окна нашей мэрии после того, как ей обрили голову. В память о ней я не храню ничего. Если мне случится об этом рассказывать кому-нибудь, я добавлю: не храню даже пряди волос. И пусть на меня смотрят с ужасом – мне наплевать.

За два года, прошедшие после смерти отца, я видела эту горемыку раза два или три в приютском зале для свиданий. Я бы затруднилась описать, как она выглядела. Наверное, как всякий бедняк. Она тоже была итальянкой, звали ее Рената Кастеллани. Родилась она в Сан-Аполлинаре, провинция Фрозиноне. Ей было двадцать четыре года, когда она умерла. Моя мать моложе меня.

Кто моя мать и откуда она, я узнала из записи о моем рождении. Воспитывавшие меня монахини наотрез отказывались разговаривать со мной о ней. Когда я сдала экзамен на бакалавра и стала самостоятельной, я приехала в наш поселок. Мне показали на кладбище место, где она похоронена. Я хотела накопить денег и что-нибудь сделать для нее, ну хотя бы положил, плиту с ее именем, но мне не разрешили, так как она захоронена в общей могиле.

А впрочем, мне наплевать. Несколько месяцев я работала в Ле-Мане секретаршей на фабрике игрушек, затем у нотариуса в Нойоне. Мне было двадцать лет, когда я впервые нашла себе работу в Париже. Работу я потом переменила, но по-прежнему живу в Париже. Теперь я в рекламном агентстве, где служат двадцать восемь человек, и получаю, после вычета налогов, тысячу двести семьдесят франков в месяц за то, что стучу на машинке, подшиваю дела в папки, отвечаю на телефонные звонки, а в случае надобности и выбрасываю мусор из корзинок для бумаг.

Мое жалованье дает мне возможность есть бифштекс с жареной картошкой на обед, простоквашу и джем на ужин, одеваться примерно так, как мне нравится, оплачивать однокомнатную квартирку с ванной и кухней на улице Гренель, обогащаться духовной пищей, которую каждые две недели дает мне журнал «Мари-Клер» и каждый вечер – двухканальный, с большим сверхъярким экраном телевизор, за него мне осталось внести всего три взноса. У меня хороший сон, я почти не пью, курю умеренно. У меня было несколько романов, но не таких, которые могли бы вызвать возмущение консьержки. Правда, консьержки

в моем доме нет, но есть соседи по площадке. Я свободна, живу без забот и абсолютно несчастна.

Наверное, все, кто меня знает – начиная с художников нашего агентства и кончая бакалейщицей в моем квартале, – были бы потрясены, узнав, что я еще на что-то жалуюсь. Но я не могу не жаловаться. Еще не научившись ходить, я уже усвоила, что, если я сама себя не пожалею, никто меня не пожалеет.

Началась вся эта история вчера вечером, в пятницу, 10 июля. Но мне кажется, что это было сто лет назад в каком-то ином мире.

До конца работы оставалось не больше часа. Наше агентство размещается возле площади Трокадеро, в жилом доме с колоннами и затейливыми лепными украшениями, и занимает два этажа, бывшие квартиры. Почти везде там еще сохранились хрустальные люстры, которые позвякивают при сквозняке, мраморные каминные, потускневшие зеркала. Мой кабинет находится на третьем этаже.

В окно за моей спиной светило солнце, падая на разложенные на столе бумаги. Я проверила план рекламной кампании фирмы «Фросэй» («Свежий-как-роса-одеколон»), минут двадцать просидела на телефоне, добиваясь, чтобы нам сделали скидку на наше неудачно расположенное объявление в одном из еженедельников, отстукала на машинке два письма. До этого, как и каждый день, вместе с двумя редакторшами и одним красавчиком, который ведет раздел купли-продажи земельных участков, сходила в соседнее бистро выпить чашку кофе. Вот этот-то красавчик и попросил меня позвонить по поводу того неудачного объявления. Стоит ему взяться за дело одному, как его обязательно надуют.

В общем, обычный конец рабочего дня, и все же не совсем обычный. В мастерской художники говорили об автомобилях и о Кики Карон, бездельничающие девицы забегали ко мне выклянчить сигарету, помощник заместителя шефа, который обычно то орет на сотрудников, то расшаркивается перед ними, шумел в коридоре, чтобы выглядеть незаменимым. Все, казалось, было как обычно, но в поведении каждого угадывалось то нетерпение, та скрытая радость, которая овладевает человеком в предвкушении нескольких праздничных дней.

В этом году 14 июля приходилось на вторник, и, по крайней мере, уже в январе (когда нам выдали наши записные книжки с календариками) мы знали, что у нас будет четыре свободных дня. Чтобы возместить понедельник, в июне, когда никто, кроме меня, еще не ушел в отпуск, работали по полдня две субботы. А я взяла отпуск в июне. Не для того, чтобы удружить кому-нибудь, кто хотел уйти в июле, а потому – пусть меня покарает Бог, если я вру! – что все остальные летние месяцы даже в главной гостинице Монбриана, в Верхней Луаре, нет мест. Все словно помешанные.

Если меня арестуют, нужно будет объяснить и это: вернувшись после отпуска, якобы проведенного на Средиземном море, а в действительности загорев от сети напряжением в 220 вольт (как-то я подарила себе на день рождения ультрафиолетовую лампу за 180 франков, говорят, она вызывает рак, но мне плевать), я очутилась среди людей, возбужденных предстоящим отъездом. А для меня все было кончено, капут на целую вечность, до будущего года, но мой отпуск имеет хотя бы то преимущество, что я могла бы с легкостью и без сожаления забыть о нем, едва переступив порог своего кабинета. Но не тут-то было: все, словно сговорившись, продлевают агонию, и мое прощание с летним отдыхом – просто медленная смерть.

Мужчины обычно ездят в Югославию. Не знаю уж, как им это удастся, но они проталкивают этикетки для консервов югославам, и у них всегда припасены там денежки. По их словам – сущие пустяки, но, мол, за пять монет в день можно роскошно жить с женой, сестрой жены и всеми детьми на таком морском курорте, от которого дух захватывает, а если еще к тому же сумеешь обвести вокруг пальца таможенников, то даже привезти сувениры,

например, разные напитки или крестьянские вилы, которые будут служить тебе великолепной вешалкой. Я просто мечтала о Югославии.

Женщины – те предпочитали Кап-д’Антиб. («Будешь проезжать мимо, загляни ко мне, там неподалеку живет мой приятель, у него бассейн, он туда наливает специальную жидкость для плотности воды, и даже если ты плаваешь как топор, все равно не утонешь».) В обеденный перерыв они с бутербродом в одной руке и с конвертом премиальных в другой делали набеги на магазины «Призюник» или «Инно-Пасси». Я видела, как они возвращаются в агентство, раскрасневшиеся от беготни по магазинам и потасовки на распродаже уцененных товаров, и в их глазах уже плескалось море. Они вбегали, нагруженные своими покупками вечернее нейлоновое платье, уместающееся в коробке от сигарет, транзисторный приемник Made in Japan с магнитофоном – можно одновременно слушать и записывать передачи станции «Европа-1», к нему как бесплатное приложение даются две кассеты, а упаковка транзистора может служить пляжной сумкой и, если ее надуть, подушкой. А одна из девиц – вот провалиться мне на этом месте, если я вру! – однажды даже затащила меня в туалет, чтобы продемонстрировать свой новый купальный костюм.

Четвертого июля, в прошлую субботу, на следующий день после того, как большинство моих сослуживцев, завершив бурные сборы, отправилось в отпуск, мне исполнилось двадцать шесть лет. Я просидела весь день дома одна, убрала квартиру. Я чувствовала себя старой, бесповоротно старой, вышедшей в тираж, скучной, полуслепой и глупой. И безумно завистливой. Если даже считать, что не веришь в Бога, наверное, такая зависть – грех.

Вчера вечером тоже было не лучше. Предстоял этот бесконечный праздник, когда не знаешь, на что убить время, и к тому же – это главное, – пока он наступит, я буду слышать, как в соседних кабинетах все строят различные планы, а слышать я буду отчасти потому, что они громко разговаривают, отчасти потому, что я – паршивая мазохистка и вечно подслушиваю.

У всех всегда есть какие-то планы. А я вот ничего не умею подготовить заранее, звоню в последний момент, и в девяти случаях из десяти никто мне не отвечает, а если кто и ответит, то у него уже что-то намечено. А бывает и хуже: однажды я пригласила к себе на обед журналистку, которая иногда оказывает мне услуги по работе, с ее любовником, довольно известным актером, и, чтобы не выглядеть полной дурой, художника из нашего агентства. Договорились мы за две недели, я записала это на всех четырнадцати предшествующих страничках своего календарика и все равно начисто забыла, а когда гости пришли – «Привет, как поживаете?» – у меня в доме не оказалось ничего, кроме простокваши и джема. Мы пошли ужинать в китайский ресторанчик, и я с трудом вымолила – вот был цирк! – чтобы мне разрешили заплатить по счету.

Почему я такая, не знаю. Может оттого, что из моих двадцати шести лет восемнадцать мне надо было ходить строем в паре за остальными. А планы на каникулы или даже на воскресенье составляли за меня другие, и планы эти всегда были одинаковы: вместе с теми, у кого, как и у меня, за оградой приюта не было ни одной родной души на свете, я красила нашу часовню (кстати, я обожала красить), томила с мячом под мышкой в пустом школьном дворе, а иногда меня возили в Рубе, где у Матушки, нашей настоятельницы, был брат аптекарь. Там я несколько дней сидела за кассой, и перед каждой едой мне давали какое-то укрепляющее средство в ампулах, затем за мной приезжала Матушка и увозила обратно в приют.

Когда мне было шестнадцать лет, во время одной из таких поездок в Рубе я что-то сделала или сказала, что огорчило ее, – не помню уже, в чем было дело, какой-то пустяк, а так как поезд, которым мы собирались вернуться, вот-вот должен был отойти, она решила отложить отъезд. Она угостила меня в пивном баре мидиями, а потом мы отправились в кино. Шла картина «Бульвар сумерек». Когда мы вышли из кино, Матушка просто была больна от стыда. Она выбрала этот фильм потому, что в ее душе сохранилось незабываемое впечат-

ление от Глории Свенсон, когда та играла невинных девушек; она не могла даже предположить, что эта картина меньше чем за два часа познакомит меня со всеми мерзостями жизни, со всем, что так тщательно скрывалось от нас.

По дороге на вокзал (мы мчались как сумасшедшие, чтобы не опоздать на последний поезд) я тоже плакала, но не от стыда, а от восхищения, мной овладела какая-то упоительная грусть, я задыхалась от любви. Это был первый фильм, который я видела в своей жизни, первый и самый прекрасный. Когда Глория стреляет в Уильяма Холдена и он под градом пуль, пошатываясь, идет к бассейну, когда Эрик фон Штрогейм снимает документальную ленту, а Глория спускается по лестнице, уверенная, что играет роль в новом фильме, я думала, что сейчас умру, тут же, прямо в кресле кинотеатра города Рубе. Нет, я не могу этого объяснить. Я была в них влюблена, я хотела быть на их месте, на месте всех троих – и Холдена, и Штрогейма, и Глории Свенсон. Даже маленькая возлюбленная Холдена – и та мне нравилась. Я смотрела, как она прогуливается с ним в пустом павильоне среди декораций, и меня охватывала страстная и безнадежная мечта оказаться вдруг там, с ними, мне хотелось снова и снова посмотреть этот фильм, посмотреть без конца.

Матушка, сидя в поезде, утешала себя тем, что, мол, слава богу, самое страшное в этой отвратительной мерзости было все-таки недоговорено, показано намеками, которые, кстати, не дошли даже до нее, и уж я-то наверняка не могла понять их. Но с тех пор, как я живу в Париже, я смотрела этот фильм еще несколько раз и теперь знаю: как ни была я потрясена тогда, все-таки главное я уловила.

Вчера вечером, запечатывая те два письма, которые я отстучала на машинке, я решила, что пойду в кино. Наверное, так бы я и поступила, будь у меня хоть десятая доля того здравомыслия, какое мне порою приписывают, хотя и на этом далеко не уедешь. Я бы сияла телефонную трубку и наконец в кои-то веки не в последнюю минуту, а за несколько часов до сеанса подыскала себе компаньона. А тогда – уж я-то себя знаю, – даже если б на Париж сбросили водородную бомбу, я все равно не отступилась бы и ничего бы не произошло.

Впрочем, кто знает? Ведь если говорить честно, то все равно когда – вчера, сегодня или через полгода, – но что-то в этом роде должно было случиться. В глубине души я фаталистка.

Но я не позвонила по телефону, а, закулив сигарету, вышла в коридор положить письма в корзинку для почты. Потом спустилась на второй этаж, некоторое время пробыла в чулане, куда складывают газеты и который носит пышное название «архив». Жоржетта – девушка, которая там работает, высунув язык, вырезала объявления. Я просмотрела в утреннем выпуске «Фигаро» кинопрограмму, но ничего соблазнительного не нашла.

Когда я поднялась к себе, в кабинете меня ждал шеф. Я открыла дверь, считая, что там никого нет, и увидела его стоящим посреди комнаты. У меня упало сердце.

Наш шеф – мужчина лет сорока пяти, а может, и чуть старше, довольно высокий, и весит он килограммов сто. Пострижен очень коротко, почти наголо. Лицо у него оплывшее, но приятное. И говорят, когда он был помоложе и не такой толстый, он был красив. Зовут его Мишель Каравей. Вот он-то и есть основатель нашего агентства. Реклама – его призвание, он умеет четко и ясно объяснить, что ему надо, и в нашем деле, где нужно убедить не только тех, кто заказывает рекламу и, значит, платит нам за нее, но и покупателя, он большой мастак.

Его отношения со служащими и интерес к ним не выходят за деловые рамки. Что касается меня, то лично я знаю его очень мало. Вижу я его один раз в неделю, в понедельник утром, когда у нас бывает получасовая летучка в его кабинете, на которой он подытоживает наши текущие дела. Да и присутствую я там только в качестве секретаря, чтобы записывать.

Три года назад он женился на моей ровеснице, ее зовут Анита, у которой я была секретарем, когда она работала в другом рекламном агентстве. Мы дружили с ней, насколько это возможно, когда проводишь сорок часов в неделю в одной комнате, каждый день вме-

сте обедаешь в кафе самообслуживания на улице Ла-Бозси и время от времени по субботам ходишь вместе в мюзик-холл.

Анита и предложила мне, когда они поженились, перейти к Каравею. Она прослужила там всего несколько месяцев. Сейчас я выполняю примерно ту же работу, что и она, но я не обладаю ни ее способностями – а они у нее незаурядные, – ни ее тщеславием, и, ясно, не получаю ее жалованья. Я никогда не встречала человека, который бы лез вверх с таким упорством и эгоизмом, как она. Она исходит из принципа, что в этом мире, где люди приучаются склоняться перед бурей, нужно создавать бури, чтобы вознестись в их вихре. Ее прозвали Анита-наплевать-мне-на-тебя. Она это знала и даже подписывалась так в служебных записках, когда устраивала кому-нибудь разнос.

Недели через три после свадьбы Анита родила девочку. С тех пор она не служит и я ее практически не вижу. Что же касается Мишеля Каравея, то до вчерашнего вечера я считала, что он забыл о моем знакомстве с его женой.

В тот день Каравей выглядел не то усталым, не то озабоченным, и цвет лица у него был землистым, как в те дни, когда он садился на диету, чтобы похудеть. Назвав меня по имени, он сказал, что попал в затруднительное положение.

Я увидела, что кресло для посетителей, стоящее у моего стола, завалено папками. Я убрала их, но он не сел. Он оглядывал мой кабинет так, словно впервые вошел сюда.

Он сказал, что завтра утром улетает в Швейцарию. У нас в Женеве крупный заказчик, некий Милкаби, владелец фирмы, выпускающей сухое молоко для новорожденных. Чтобы получить заказ на следующую рекламную кампанию, Каравею предстоит час или два отстаивать свои интересы перед лицом дюжины директоров и их заместителей с ледяными лицами и ухоженными маникюршами руками, показывать им макеты, отдельные оттиски на меловой бумаге, цветные фотографии – словом, постараться с честью выйти из этого сражения, и все уже готово, лишь наша ударная сила – литературная часть – находится под угрозой. Каравей объяснил мне, даже не улыбнувшись (подобные объяснения я слышала уже не меньше ста раз), что составлен целый доклад о нашей рекламной тактике и тактике наших конкурентов, но в последнюю минуту он, Каравей, все переделал, и теперь это уже не доклад, а исчерканный черновик, – иными словами, лететь ему не с чем.

Каравей говорил быстро, не глядя на меня – ему было неловко просить меня об одолжении. Он сказал, что не может отправиться туда с пустыми руками. Не может он и отложить встречу с Милкаби, он уже дважды откладывал ее. Хотя швейцарцы и тугодумы, но если мы откажемся от встречи в третий раз, то даже они сообразят, что мы прохвосты и лучше им разносить свое сухое молоко по домам бесплатно, чем связываться с нами.

Я уже давно поняла, куда он клонит, но молчала. Он тоже умолк и машинально перебирал безделушки, стоявшие на моем столе. Я села. Закурила новую сигарету. Предложила закурить и ему, но он отказался.

Наконец он сказал, что питает большую надежду на то, что у меня не намечено на сегодняшний вечер никаких планов. Он часто выражается так витиевато, иногда даже обидно. Думаю, в его представлении у меня не может быть иных планов на вечер, кроме как выпасться, чтобы набраться побольше сил для завтрашней работы. А я, дура несчастная, не знала, что ему ответить, «да» или «нет», и нарочито безразличным голосом спросила:

– Сколько страниц надо написать?

– Около пятидесяти.

Я выпустила дым изо рта, образовав красивое облачко, которое должно было показать шефу, что я его осуждаю, но тут же подумала – и это мне все испортило – «Ты пускаешь дым, как в кинофильме, он сразу же догадается, что ты набиваешь себе цену».

– И вы хотите, чтобы я напечатала это сегодня вечером? Да мне не одолеть столько! Для меня потолок – шесть страниц в час. И то высунув язык. Лучше попросите госпожу Блондо, может, она справится.

Но он ответил, что самолет улетает только в полдень. И, кроме того, эту работу невысимо поручить госпоже Блондо: она хотя и печатает быстро, но не разберется в тексте, испещренном поправками, сносками, с незаконченными фразами. А я – в курсе дела.

И еще он сказал мне одну вещь, которая, пожалуй, и побудила меня согласиться: он не хотел – он всегда был против этого, – чтобы сотрудники оставались в агентстве после окончания рабочего дня, тем более – стучать на машинке. Ведь верхние этажи заселены жильцами, а договор на аренду нашего помещения и так заключен лишь благодаря каким-то махинациям. Шеф сказал, что я буду печатать у него дома, и если не успею закончить работу вечером, то, чтобы не терять времени, у них и переночую. А утром к его отъезду закончу.

Я никогда не была у Каравеев. Побывать у них, повидаться с Анитой – это было слишком заманчиво, чтобы я отказалась. За те две-три секунды, пока он, потеряв терпение, не сказал сам: «Ну ладно, договорились!» – я вообразила себе бог знает что. Господи, какая же я идиотка! Ужин вдвоем – ни больше ни меньше! – в огромной гостиной при рассеянном свете ламп. Воспоминания, приглушенный смех. «Ну, не стесняйтесь, положите себе еще крабов». Анита, немного растроганная и сентиментальная от вина, берет меня за руку, чтобы проводить в отведенную мне спальню. За раскрытым окном ночь, ветерок надувает шторы.

Каравей вернул меня к действительности: взглянув на часы, он сказал, что я смогу спокойно работать, так как их служанка уехала отдыхать в Испанию, а у него с Анитой, к сожалению, есть тяжелая обязанность – они должны присутствовать во дворце Шайо на фестивале рекламных фильмов.

– Анита будет рада вас видеть, – добавил он все же. – Ведь она, кажется, в свое время немного опекала вас?

Но сказал он это уже на пути к двери, не глядя на меня, словно я не существовала, – вернее, я хочу сказать, словно я была таким же неодушевленным предметом, как какая-нибудь электрическая пишущая машинка с шрифтом «президент»...

Прежде чем выйти, он обернулся, неопределенным жестом показал на мой стол и спросил, не остались ли у меня еще какие-нибудь важные дела. Я собиралась править гранки одной промышленной рекламной брошюры, но это могло и подождать, и тут в кои-то веки мне пришла в голову разумная мысль, и я ее высказала:

– Мне нужно получить деньги.

Речь шла о премиальных в размере месячного оклада, которые нам выплачивают в два срока: половину в декабре и половину в июле. Те, кто уже в отпуске, получили эти деньги в одном конверте с жалованьем за июнь. Остальные получают их к 14 июля. Премиальные, так же как и жалованье, выдает главный бухгалтер – он ходит по кабинетам и лично вручает каждому конверт. Ко мне он обычно заходит не раньше чем за полчаса до конца рабочего дня. Первым делом он отправляется в редакцию, где его появление вызывает нечто вроде катаклизма, но на этот раз он, видно, задержался, так как еще не было слышно шума, какой обычно поднимается, когда к бедняге бросаются редакторши.

Шеф застыл, держась за ручку двери. Потом сказал, что сейчас едет домой и хотел бы сразу же захватить с собой и меня. А конверт с премиальными он вручит мне сам – это, кстати, позволит ему добавить в него еще некоторую сумму, франков триста, если я не возражаю.

В его взгляде я прочла облегчение, да и я, конечно, была довольна, но у него эта радость была мимолетной, словно я просто-напросто помогла ему уладить затруднительное дело.

– Так собирайтесь, Дани. Через пять минут я жду вас внизу. Моя машина под аркой.

Он вышел, притворив за собой дверь. Но почти тотчас появился на пороге. Я в это время ставила на место безделушку, которую он передвинул. Это был слоник на шарнирах, розовый, как конфетка. Каравей заметил, с какой тщательностью я восстанавливаю порядок на своем столе, и пробормотал: «Простите». Потом он сказал, что рассчитывает на мою скромность и надеется, что никто не узнает об этой работе, которую я буду делать вне стен агентства. Я поняла, что он не хочет, чтоб я рассказывала о ней, так как чувствует себя немного виноватым в том, что задержался с докладом. Он хотел сказать еще что-то, возможно, объяснить мне это, но он только взглянул на розового слоника и ушел, на сей раз уже окончательно.

Я посидела немного за столом, думая, что будет, если я не справлюсь с работой и не успею до его отъезда написать все пятьдесят страниц. Меня беспокоило не время, нет – подумаешь, поработаю немного ночью, – а совсем другое: выдержат ли такую нагрузку мои глаза, ведь от долгого напряжения они становятся воспаленными, начинают слезиться, болеть, в них мелькают какие-то огненные точки – короче, мне бывает так худо, что я уже ничего не вижу.

Думала я и об Аните, и о всякой ерунде: знай я утром, что встречу с Анитой, я надела бы свой белый костюм. Надо непременно заехать домой переодеться. Когда я работала у нее, я еще донашивала юбки, которые сама сшила в приюте, и она мне говорила: «Своими рукоделиями ты вызываешь у меня отвращение к несчастным детям». И теперь мне хотелось бы показаться в самом лучшем своем костюме, чтобы она увидела, как я изменилась. Потом вдруг я вспомнила, что шеф дал мне на сборы пять минут. А для него пять минут – это ровно триста секунд. Он так точен, что даже кукушка в часах не смогла бы с ним соперничать.

Я набросала на листке блокнота: «Еду отдыхать. До среды».

Но тут же разорвала листок в мелкие клочки и написала на другом: «Улетаю на праздники. До среды. Дани».

А теперь мне захотелось добавить, куда именно я отправляюсь. Просто «Улетаю» – этого мало. Надо бы написать: «Улетаю в Монте-Карло». Но я взглянула на часы, большая стрелка приближалась уже к половине пятого – да к тому же я, наверное, единственная из всего нашего агентства никогда не летала, так что никого этим не удивлю.

Скрепкой я прикрепила листок к абажуру стоявшей на моем столе лампы. Всякий, войдя, увидит его. Пожалуй, я была в превосходном настроении. Это трудно объяснить. Если хотите, в эту минуту я тоже испытывала то нетерпение, каким – я чувствовала – были охвачены в эту так долго тянувшуюся вторую половину дня все остальные сотрудники.

Надев пальто, я вспомнила, что у Аниты и Мишеля Каравея есть дочка. Я взяла розового слоника и сунула его в карман.

Помню, что в окно по-прежнему светило солнце и его лучи падали на заваленный бумагами стол.

В машине, черном «ситроене» с кожаными сиденьями, Каравей сам предложил заехать сначала ко мне домой, чтобы я взяла ночную сорочку и зубную щетку.

Еще не наступил час пик, и мы ехали довольно быстро. Я сказала Каравею, что у него усталый вид. Он ответил, что у всех усталый вид. Я заговорила о его машине, какая она комфортабельная, но эта тема его тоже не заинтересовала, и снова воцарилось молчание.

Сену мы пересекли через мост Альма. На улице Гренель он нашел место, где поставить машину – у фотомагазина, почти напротив моего дома. Когда я вышла, он последовал за мной. Он даже не спросил, можно ли ему подняться ко мне или нет, ничего не спросил. Просто вошел за мною в подъезд.

Я не стыжусь своей квартиры – во всяком случае, так мне кажется, – и была уверена, что не развесила над радиатором сушиться белье. И все-таки мне было неприятно, что он идет ко мне. Он будет в комнате, и мне придется переодеваться в ванной, где так тесно, что

если наткнешься на одну стенку, то тут же пересчитаешь и остальные три. Кроме того, я живу на пятом этаже без лифта.

Я сказала, что ему совсем не обязательно провожать меня, я соберусь за несколько минут, но он ответил, что поднимется со мной, это его не затруднит. О чем уж он там думал, не знаю. Может, вообразил, что я повезу с собой целый чемодан.

На площадке мы никого не встретили – хоть в этом повезло. Муж соседки заработал себе дармовой отдых в больнице Бусико, проехав по улице Франциска Первого навстречу движению, и вот эта соседка прямо из себя выходит, если при встрече ее не спросить о здоровье мужа, а если спросишь – будет тараторить до ночи. Я вошла в квартиру первой и, как только Каравей переступил порог, тут же закрыла дверь. Он молча осмотрелся. Он явно не знал, куда ему деть себя в этой крохотной комнатке. Здесь он показался мне гораздо моложе и как бы это сказать? – живее и естественнее, чем в агентстве.

Я достала из стенного шкафа белый костюм и заперлась в ванной. Я слышала, как Каравей ходит совсем рядом со мной, за стенкой. Раздеваясь, я сказала ему через дверь, что он может чего-нибудь выпить, бутылки стоят в шкафчике под окном. И еще спросила, успею ли я принять душ? Он не ответил. Я отказалась от этой затеи и лишь наскоро обтерлась рукавичкой.

Когда я вернулась в комнату уже одетая, причесанная, подмазанная, но босая, он сидел на диване и разговаривал по телефону с Анитой. Он сказал ей, что мы скоро приедем. Разговаривая, он разглядывал мой костюм. Я села на ручку кресла и стала надевать белые туфли, глядя ему прямо в глаза. Я не прочла в них ничего, кроме озабоченности.

Он разговаривал с Анитой, я знала, что это она, он говорил: «Да, Анита», «Нет, Анита», – теперь я уж и не помню точно, что он ей рассказывал. Кажется – что я совсем не изменилась, да, совсем не изменилась, что я довольно высокая, да, худенькая, да, красивая, да, и загорелая, у меня светлые волосы, да, очень светлые, одним словом, все в этом роде, какие-то милые слова, которые и звучать должны были мило, но его голос искажал их смысл. Он до сих пор стоит у меня в ушах: монотонный голос прилежного судебного исполнителя. Каравей отвечал Аните на ее вопросы, он терпеливо покорялся ее капризу. Она хотела, чтобы он описал меня, и он описывал. Вот Анита – она человек, а я, Дани Лонго, с таким же успехом могла бы быть стиральной машиной, выставленной для рекламы в универсальном магазине на Ратушной площади.

Он сказал еще одну вещь. О, он даже не попытался сделать это в завуалированной форме, чтобы не обидеть меня, а без всяких околичностей сообщил жене, что я стала еще более близорукой. Он просто точно описывал то, что видит, просто констатировал факты. Он еще добавил, что очки скрывают цвет моих глаз. Я рассмеялась. И даже сняла очки, чтобы продемонстрировать ему глаза. Они не светло-голубые и переменчивые, словно море, как у Аниты. Я помню, какие они бывали у нее, когда в кафе самообслуживания на улице Ла-Боэси она разрешала мне отнести вместе со своим и ее поднос. У меня же глаза темные, неподвижные, невыразительные, как унылая северная долина, и невидящие, стоит мне только снять очки.

И вот – то ли из-за своих глаз, то ли из-за того, что я вдруг поняла, что для этой воспитанной супружеской пары я всегда буду лишь темой для оживления несколько нудного телефонного разговора, – но только, все еще продолжая смеяться, я вдруг почувствовала глубокую грусть, я уже была сыта всем по горло, и мне захотелось, чтобы этот вечер был уже позади, чтобы Каравей уже ушли на свой проклятый фестиваль рекламных фильмов и чтобы их вообще не существовало, чтобы Аниты никогда не существовало, чтобы они убились к черту.

Мы уехали. Послушавшись Каравая, я сунула в сумку ночную рубашку и зубную щетку. По набережной Сены мы добрались до Отейльского моста. О чем-то вспомнив, он,

не доезжая до дома, остановился на какой-то улице, где было много магазинов, поставив машину во втором ряду.

Он дал мне пятьдесят франков и сказал, что ни он, ни Анита никогда не ужинают и, наверное, в доме для меня ничего не найдется поесть. Обладая я хоть капелькой юмора, я бы, наверное, расхохоталась, вспомнив свои бредовые мечты об интимном ужине при рассеянном свете ламп и надутых сквозняком шторах. Но вместо этого я густо покраснела. Я ответила, что тоже не ужинаю, однако он не поверил и повторил: «Пожалуйста, прошу вас».

Он остался в машине, а я зашла в булочную и купила две бриоши и плитку шоколада. Он попросил меня также «заодно» забежать в аптеку и взять ему лекарство. Пока аптекарь ставил штамп на рецепт, я прочла на коробочке с флаконом, что это сердечные капли. Он устраивает голодовки, а чтобы не падать в обморок, взбадривает себя дигиталисом. Гениально!

В машине, пряча в бумажник сдачу, он, не глядя на меня, спросил, где я купила свой костюм. Он, видно, из тех мужей, которые не выносят, когда кто-то, кроме его жены, прилично одет. Я ответила, что получила его бесплатно, как сотрудница агентства, когда мы делали фотографии для одного из наших клиентов с улицы Фобур-Сент-Оноре. Он кивнул головой с таким видом, словно подумал: «Ну конечно, я сразу догадался», – но, желая быть любезным, сказал мне что-то вроде того, что для готового платья, мол, костюм очень недурен.

Я никогда раньше не бывала в Отейле, в квартале Монморанси. Видимо, мое настроение окрашивало весь пейзаж, потому что этот фешенебельный парижский квартал с нарядными чопорными улицами показался мне деревней, убежищем для провинциальных пенсионеров. Каравей жили на Осиновой улице. Была здесь и Липовая улица и, наверное, Каштановая. Дом Каравеев оказался именно таким, каким я его себе представляла: большой, красивый, окруженный цветниками. Был седьмой час. На листьях деревьев мелькали ослепительные солнечные блики.

Помню, как мы подъехали, шум наших шагов в предвечерней тиши. В холле, облицованном красным кафелем, где на полу лежал большой ковер, на котором были изображены единороги, несмотря на то что в окно пробивался дневной свет, горели все лампы. Каменная лестница вела на верхние этажи, на нижней ступеньке, прижимая к груди лысую куклу, стояла светловолосая маленькая девочка в лакированных туфельках, в носочках – один из них сполз вниз – и в голубом бархатном платьице, отделанном кружевами. Она уставилась на меня ничего не выражающим взглядом.

Я подошла к ней, досадуя на себя, что не умею относиться ко всему просто, не усложняя. Наклонилась, чтобы поцеловать ее и поправить ей носочек. Она молча позволила мне это сделать. У нее были такие же большие голубые глаза, как у Аниты. Я спросила, как ее зовут. Мишель Каравей. Она произнесла «Клавей». Я спросила, сколько ей лет. «Тли года». Я вспомнила о розовом слонике, которого собиралась ей подарить, но он остался в кармане пальто, а пальто я забыла дома.

Шеф сразу же пригласил меня пройти в большую комнату, которую я, в сущности, потом почти не покидала. Кресла и кушетка были обиты черной кожей, вся мебель – темного дерева, стены заставлены книгами. Большая лампа с подставкой в виде лошади.

Я сменила очки и попробовала машинку. Это был полупортативный «ремингтон» выпуска сороковых годов и к тому же еще с английским расположением шрифта. Но все же на нем можно было вполне прилично взять шесть закладок, хотя Каравей сказал мне, что достаточно четырех экземпляров. Он раскрыл дело Милкаби, вынул листки, исписанные бисерным почерком (я никогда не могла понять, как этот здоровенный битюг ухитряется писать так мелко), и объяснил мне особо неразборчивые места. До фестиваля во дворце

Шайо ему, бог его знает для чего, надо повидаться с одним владельцем типографии. Пожелав мне успеха, он добавил, что скоро придет Анита, и уехал.

Я принялась за работу. Анита спустилась ко мне минут через тридцать. Ее светлые волосы были стянуты узлом на затылке, в руке она держала сигарету. «О, мы не виделись целую вечность, – сказала она, – как ты поживаешь, у меня чудовищная мигрень», – и все это скороговоркой, буквально изучая меня с ног до головы с таким видом, словно кто-то принуждает ее к этому. Впрочем, она всегда так разговаривала.

Она распахнула дверь в глубине комнаты и показала мне спальню, объяснив, что ее муж, когда поздно засиживается за работой, иногда спит там. Я увидела огромную кровать, покрытую белым мехом, и на стене увеличенную фотографию обнаженной Аниты, сидящей на подлокотнике кресла, великолепно выполненная фотография, которая передавала даже пористость кожи. Я глупо рассмеялась. Она повернула фотографию, наклеенную на деревянный подрамник, лицевой стороной к стене и сказала, что Каравей оборудовал себе на чердаке любительскую фотолабораторию, но она – его единственная модель. Говоря это, она распахнула другую дверь, около кровати, и показала мне облицованную черной плиткой ванную. Наши взгляды на мгновение встретились, и я поняла, что все это ей до смерти не интересно.

Я снова села за машинку. Пока я печатала, Анита положила на низкий столик один прибор, принесла два ломтя ростбифа, фрукты и начатую бутылку вина. Она была в домашнем платье. Спросив, не нужно ли мне еще чего-нибудь, и не дождавшись ответа, она тоже пожелала успеха в работе, бросила «пока» и исчезла.

Спустя некоторое время она появилась в дверях, в черном атласном пальто, заколотом у шеи огромной брошью, и остановилась на пороге, держа за руку дочку. Сказала, что заведет девочку к своей матери, которая живет неподалеку, на бульваре Сюше (я там когда-то бывала раза три), а потом встретится с мужем в Шайо. Вернутся они рано, так как завтра улетають в Швейцарию, но если я устану, то мне совсем не обязательно их дожидаться. Я чувствовала, что, прежде чем уйти и оставить меня одну, она старается найти какие-то дружеские слова, но не может. Я подошла к ним, чтобы лучше разглядеть Мишель и пожелать крошке спокойной ночи. Уходя, девочка несколько раз оборачивалась и смотрела на меня. Она по-прежнему прижимала к груди свою лысую куклу.

После этого я застрочила как пулемет. Раз два-три я курила, а так как я не люблю курить во время работы, то ходила с сигаретой по комнате и разглядывала корешки книг. На стене было нечто необычное («Такого ты никогда не видела»), но притягательное: матовое стекло, примерно 30 на 40 сантиметров, в позолоченной рамке, на которое вмонтированное в стену устройство проецировало цветные слайды. Видимо, Каравей установил у себя один из тех аппаратов, которые используют для рекламы в витринах магазинов. Диапозитивы менялись каждую минуту. Я посмотрела несколько кадров: залитые солнцем рыбачьи деревушки, в воде отражаются лодки, выкрашенные в самые различные цвета. Как это называется, не знаю. Единственное, что я, несчастная идиотка, могу сказать, так это то, что они были сделаны на пленке «Агфа-колор». Слишком давно я занимаюсь всей этой штуковиной, чтобы по тону красного цвета не определить пленку.

Когда у меня начали уставать глаза, я пошла их промыть холодной водой в облицованную черными плитками ванную. Снаружи не доносилось ни какого шума, Париж, казалось, был где-то далеко, и я чувствовала, что меня подавляют пустой дом, темные комнаты.

К половине первого ночи я написала тридцать страниц. Я то и дело ошибалась, словно мозг у меня превратился в сухое молоко. Подсчитав оставшиеся страницы – их было около пятнадцати, – я закрыла машинку.

Почувствовав, что проголодалась, я съела бриошь, которую купила по дороге, ломтик ростбифа, яблоко и выпила немного вина. Мне не хотелось оставлять за собой грязную

посуду, и я отправилась на поиски кухни. Она оказалась просторной, обставленной в стиле деревенской столовой, с каменной раковиной, в которой покрывались плесенью две высокие стопки тарелок. Уж я-то знаю Аниту. С тех пор как уехала в отпуск ее служанка, она наверняка ни разу не дала себе труда даже включить тостер.

Я сняла жакет и вымыла свою тарелку, стакан, вилку и нож. Потом погасила везде свет и легла спать. Было жарко, но я не решилась, бог знает почему, открыть окно. Я никак не могла заснуть и вспомнила, какой была Анита, когда я работала у нее. Раздеваясь, я не удержалась и перевернула фотографию, где она сидит голая на кресле. Я жалела, что так глупо рассмеялась при Аните. Я не хочу сказать, что нелепо расхохотаться, увидев, что хозяин дома сделал и повесил на стенку фотографию голой задницы своей жены, но просто сам смех у меня получился глупый.

Когда я работала с Анитой, она много раз ночевала у меня. Она тогда жила с матерью и однажды попросила меня – попросила так, как она одна умела это делать, пустив в ход и ласку и угрозу, с невероятным упорством, – чтобы я разрешила ей встречаться у меня с одним молодым человеком. Потом поклонники менялись, но место свиданий оставалось прежним, а я, уступив раз, уже не могла набраться мужества отказать ей. В праздничные дни я уходила в кино. Вернувшись, я находила ее раздетой, с пылающим лицом; сидя на подлокотнике кресла, почти как на фотографии, она читала либо слушала радио и курила. Ей никогда и в голову не приходило застелить постель. Самое четкое мое воспоминание – это свисающие с кровати измятые простыни, на которых я должна была спать остаток ночи рядом с Анитой. Если я делала ей замечание, она обзывала меня «омерзительной девственницей» и говорила, чтобы я отправлялась обратно в монастырь и подошла бы там от зависти. Или же с сокрушенным видом обещала в следующий раз принимать своего поклонника на моем кухонном столе. На следующий день, на работе, она снова превращалась в Аниту-наплевать-мне-на-тебя, в элегантно одетую девушку из богатых кварталов, сдержанную, деловитую, с ясными глазами.

В конце концов я заснула, а может быть, лишь задремала, потому что через какое-то время я вдруг услышала голоса хозяев. Каравей сетовал, что приходится много пить и без конца встречаться с идиотами. Потом он тихо спросил меня через дверь: «Дани, вы спите? Все в порядке?» Я ответила: «Да, все в порядке, мне осталось напечатать пятнадцать страниц». Почему-то, подражая ему, я говорила шепотом, словно боялась разбудить кого-то в этом чертовом доме.

Потом я опять заснула. И, как мне показалось, в ту же минуту кто-то тихонько стукнул в дверь, это уже наступило утро – сегодняшнее утро. Солнце освещало комнату, и я услышала голос шефа, который сказал: «Я приготовил кофе, на столе стоит чашка для вас».

Застелив постель и приняв ванну, я оделась, выпила остывший кофе, который стоял рядом с машинкой, и снова взялась за работу.

Шеф два или три раза заходил взглянуть, сколько мне осталось. Потом в белой комбинации, держась одной рукой за голову – со вчерашнего дня ее мучила мигрень, – а другой стряхивая пепел со своей первой утренней сигареты, появилась Анита, ища что-то, чего она так и не нашла. Она собиралась за дочкой на бульвар Сюше. Анита сказала мне, что они хотят воспользоваться деловым свиданием с Милкаби и всей семьей провести праздники в Швейцарии. Она нервничала из-за предстоящей поездки, и я нашла, что хоть в этом она изменилась. Раньше она считала, что клиенты и любовники тем больше вас ценят, чем больше вы заставляете их ждать, и портить себе кровь, боясь опоздать на самолет, когда можно полететь следующим, – мелочно.

Впрочем, нервничали все – и она, и я, и Каравей. Последние две страницы я отбарабанила совсем как те машинистки, которых я не выношу: даже не пытаюсь вникнуть в смысл того, что пишешь. Наверное, я пропустила кучу нелепостей, писала одной левой рукой (я

левша, и если работа спешная, то тороплюсь и забываю, что у меня есть и правая рука), теряла уйму времени, твердя себе: «Соображай же, что ты делаешь, правой, дура, правой», – и чувствовала себя как боксер, которому нанесли сокрушительный удар. А ударом, который я получила – ну и пусть это глупо, тем хуже, но я и об этом должна рассказать, если меня будут допрашивать, было известие о том, что Каравей всей семьей проведут праздники в Швейцарии. В Цюрихе я однажды была, и это ужасное воспоминание. В Женеве я не бывала никогда, но думаю, что там есть, во всяком случае для таких, как Каравей, уютные гостиницы с огромными террасами, которые ночами ласкает лунный свет и грустная музыка скрипок, днем заливают ослепительное солнце, а вечером яркие огни иллюминации – одним словом, гостиницы, где люди живут так, как я никогда жить не буду, и не только потому, что это стоит много франков или долларов. Я ненавижу себя за то, что я такая – это правда, правда, правда! – я такая, а почему – не знаю сама.

Я закончила работу к одиннадцати часам и начала раскладывать ее по экземплярам, когда вошел Каравей и освободил от этого занятия. На нем был темно-синий летний костюм и какой-то дрянной галстук в белый горошек, и он подавлял меня своим ростом и энергией. Он уже успел заскочить в агентство за макетами и привез мне конверт с премиальными. Вместе с тремястами обещанных франков я насчитала более тысячи – почти мое месячное жалованье. И я сказала – я никогда не упускаю случая поблагодарить – «Большое спасибо, это грандиозно, это слишком много».

Он торопливо сунул работу в черный кожаный саквояж и, тяжело дыша, спросил, есть ли у меня водительские права. Нелепый вопрос. Анита знает, что есть, и, наверное, сказала ему. Когда она по случаю купила свою первую машину, «симку» с откидным верхом, она так боялась сесть за руль, что вывела машину из гаража я. А потом по четыре-пять раз в день я перегоняла ее с одной стоянки с ограничением времени на другую.

Но если говорить по совести, то по-настоящему я в своей жизни водила только одну машину – приютский грузовичок-фургон фирмы «Рено» с мотором мощностью две налоговые силы. Оплатила мое обучение Матушка («Это пригодится тебе в жизни и к тому же заставит выбрать мужа с машиной, а не какого-нибудь голодранца за его прекрасные глаза»), и только я возила ее, когда она выезжала по делам. Я тогда училась в выпускном классе. В приюте было два одинаковых грузовичка, мне достался тот, что постарее. «Можешь его разбить, – говорила мне Матушка, – наловчишься, и тогда мы заберем хорошую машину у сестры Мари де Ла-Питье». Но уже при скорости тридцать километров в час она вцеплялась руками в сиденье, а при сорока – кричала, что я убийца. Однажды она с перепугу потянула на себя ручной тормоз, и мы обе чуть не вылетели через ветровое стекло.

Наклонившись над своим саквояжем, Каравей одним духом выпалил, что в субботу утром найти машину невозможно, а телефон он переключил на Службу отсутствующих абонентов, чтобы я могла работать спокойно, и теперь нет смысла начинать всю волюнку сначала, чтобы переключить его обратно, что им еще надо заехать за дочкой и я окажу ему большую услугу, если соглашусь проводить их в аэропорт Орли. Я не поняла, зачем это нужно. Он выпрямился, весь красный, и объяснил мне, что если я поеду, то приведу машину обратно.

Он сошел с ума. Я ему сказала, что в Орли есть платные стоянки, но он лишь пожал плечами и ответил, что знает это и без меня.

– Ну поедemте, Дани.

Я сказала, что это невозможно.

– Почему?

Теперь он смотрел мне прямо в лицо, немного склонившись ко мне, и я видела, что он полон упорства и нетерпения, а когда кто-нибудь стоит слишком близко ко мне, я теряюсь и не могу сразу найти ответ. Прошло несколько секунд, и я проговорила:

– Сама не знаю почему! Просто так!

Ничего глупее я сказать не могла. Он снова пожал плечами, бросил мне, что нечего, мол, валять дурака, и с саквояжем в руках вышел из комнаты. Для него вопрос был решен.

Я не могла ехать с ним в Орли. Не могла пригнать обратно машину. Нужно ему сказать, что я никогда не управляла никакой машиной, кроме жалкого подобия грузовичка, и что наша настоятельница бывала спокойна только тогда, когда впереди маячила церковь, в которой в случае надобности нас могли бы соборовать. Я пошла в холл вслед за Каравеем. По лестнице спускалась Анита. Я ни-

У них было три чемодана. Я взяла один и понесла его в сад. Я поискала глазами «ситроен», машину Каравея, но то, что я увидела, привело меня в ужас. Они собирались ехать не на «ситроене», а на длинном, широком, с откидным верхом американском лимузине, который Анита в эту минуту выводила из гаража. Настоящий танк.

Я вернулась в холл, потом прошла в комнату, где работала. Я даже не могла сразу вспомнить, зачем пришла. Ах да, за сумкой. Я взяла ее, потом положила обратно на стол. Нет, не могу я вести такую махину! Каравей торопливо закрывал двери. Когда он увидел, что я стою, словно окаменевшая, он, должно быть, понял, в каком я состоянии, и подошел ко мне. Положив ладонь мне на руку, он сказал:

– Это машина Аниты. Кроме руля, в ней только акселератор и тормоз, больше ничего. Ее очень легко вести. – И добавил: – Не надо быть такой.

Я повернулась к нему. Я увидела, что у него голубые глаза, светло-голубые и усталые. Голубые. Раньше я никогда этого не замечала. И в то же время я вдруг впервые прочла в них, что я для него – не пустое место. Хотя я и не отличаюсь большим умом, он ко мне относится с симпатией. Во всяком случае, так мне показалось. Я не поняла, что он имел в виду, сказав: «Не надо быть такой». И до сих пор не понимаю. Он, как и перед этим, подошел ко мне совсем близко, он казался огромным, сильным, и я почувствовала, что теряю почву под ногами. После долгого молчания – а может быть, оно просто показалось мне долгим, настолько было невыносимым, – он добавил, что, раз я не хочу их проводить, он как-нибудь устроится, оставит машину на стоянке. В конце концов, это не имеет никакого значения.

Я опустила голову. И сказала, что поеду.

Девочку посадили сзади, рядом со мной. На ней было красное пальто с бархатным воротничком. Она сидела очень прямо, держа свою теплую ручку в моей, и молчала. Анита с мужем тоже не проронили ни слова. Было без двадцати двенадцать, когда мы у Орлеанских ворот свернули с внешних бульваров и выехали на автостраду, ведущую на юг. За рулем сидел Каравей.

Я спросила, где оставить автомобиль. «В саду». Нам приходилось кричать, так как он ехал очень быстро и ветер относил наши слова. Он сказал, что документы находятся в ящичке для перчаток, а ключ от ворот – вместе с ключами от машины. При этом он указательным пальцем тронул связку ключей, которые висели в замке зажигания. Я спросила, где мне их оставить. Подумав, он сказал, чтобы я хранила их у себя и отдала ему на работе, в среду, после обеда, когда он прилетит из Швейцарии.

Анита в раздражении обернулась и, бросив на меня свирепый взгляд – он был знаком мне еще с тех пор, как я работала у нее, – прокричала: «Да заткнись же ты, неужели это так трудно? Ты знаешь, с какой скоростью мы едем?» Девочка, увидев, что мать сердится на меня, высвободила свою ручку из моей.

Без десяти двенадцать – самолет улетал в пять минут первого – Каравей остановился у здания аэровокзала. Они спешили. Анита – на ней было пальто цвета беж на зеленой шелковой подкладке – приподняла девочку, вытащила из машины и, прижав ее к груди, нагнулась и поцеловала меня. Шеф торопил носильщика. Он протянул мне руку, и мне безумно захотелось удержать ее, потому что у меня вдруг возникла масса вопросов. А если пойдет дождь? Ведь до среды может пойти дождь. Не могу же я оставить машину с откинутым верхом. А

как он поднимается? Каравей растерянно посмотрел на сияющее небо, на меня, потом на приборный щиток.

– Понятия не имею. Это машина Аниты.

Он подозвал Аниту, которая в нетерпении ожидала его у входа в аэровокзал. Когда она уяснила наконец, чего я хочу, она прямо-таки взбесилась. Одним словом она объяснила мне, кто я такая, и одновременно, растопырив ладонь в летней перчатке, ткнула пальцем в какую-то кнопку, которая, как мне показалось, находится где-то совсем низко, гораздо ниже руля, но она сделала это в таком бешенстве, что я даже не увидела, в какую именно. Анита держала на одной руке дочку, и, наверное, ей было тяжело, кроме того, девочка пачкала ей пальто своими башмачками. Каравей увлек Аниту к аэровокзалу. Перед тем как они все исчезли, он обернулся и в знак прощания махнул мне рукой.

Я осталась в этой чудовищной машине одна. В голове у меня была полная пустота.

Прошло, наверное, несколько минут, прежде чем я заметила, что мотор не выключен и прохожие оглядываются на меня. Потом ко мне подошел полицейский и сказал, что стоянка здесь запрещена. Чтобы собраться с духом и дать блюстителю порядка время отойти подальше, я сняла с головы косынку, которую накинула перед отъездом из дома Каравеев, и тщательно сложила ее. Это была шелковая бирюзовая косынка, купленная мною в Ле-Мане в первый год моей самостоятельной жизни, как раз в тот день, когда пришла телеграмма о смерти Матушки. Я почти всегда ношу ее в сумке.

И вот в этой пустоте, наполнявшей мою голову, я вдруг услышала голос Матушки: «Не отчаивайся, отведи машину на стоянку, это всего пятьдесят метров, а потом у тебя будет время подумать».

Я вышла из машины, чтобы пересесть на переднее сиденье. Она была белая и сияла на солнце, и так как я не хотела, не могла сразу сесть за руль, я пошла и посмотрела на капоте ее марку. Это был «тендерберд», огромная белая птица под летним небом, стремительная птица.

Я села в машину. Дверца, казалось, захлопнулась сама. Золотисто-песочные сиденья – под цвет внутренней окраски – блестели, ослепительно сверкали хромированные детали. На щитке и даже между сиденьями было множество кнопок и ручек. Я заставила себя не смотреть на них. Каравей сказал правильно: под ногами я не нашла педали сцепления. Я наклонилась, чтобы рассмотреть переключатель скоростей. Кроме нейтрального и для заднего хода там было всего два положения: одно – трогаться, другое – ехать. Лоб у меня покрылся испариной, в горле пересохло, но это был не только страх, это было что-то еще, я не знаю что. Я уверена, что всегда буду вспоминать эти минуты, буду жалеть, что они уже позади. Я сияла с правой ноги туфлю, чтобы каблук не мешал нажимать на акселератор, сказала Матушке, что поехала, и медленно тронулась.

Сначала машина резко дернулась, потому что я слишком сильно нажала на акселератор, но тут же мягко, торжественно поплыла вперед. А затем начался прямо какой-то цирк. Я металась во все стороны по аллеям перед аэровокзалом и неизбежно налетала на «кирпич», раза четыре или пять я оказывалась на одном и том же месте и столько же раз – перед запрещающим сигналом одного и того же регулировщика. Какой-то автомобилист, ехавший за мной, обозвал меня скрягой за то, что я не включила указатель поворота, а я, прежде чем нашла, как его включать, хотя это оказалось легче легкого, включила дворник, печку, затем радио, настроенное на Монте-Карло, и опустила стекло правой дверцы. Я была на грани нервного припадка, когда мне наконец удалось поставить машину на стоянку, куда я столько времени тщетно пыталась попасть. И если я еще держалась на ногах, когда вышла из этой роскошной машины, то только потому, что женщине теперь модно быть мужественной.

Но в то же время я немного гордилась собой, и, хотя меня била нервная дрожь, я знала, что страх позади, и чувствовала себя способной мчаться на этой машине сколько

удовно. Только теперь я услышала доносившийся с летного поля гул самолетов. Я опустила в автоматический счетчик стоянки две монеты по двадцать сантимов, вынула ключ из замка зажигания, взяла сумку, платок и решила немного пройтись, чтобы проветриться. Когда я пересекала аллею, которая тянется вдоль аэровокзала, в небе в лучах солнца показалась «каравелла» швейцарской авиакомпании – возможно, та самая, которая уносила на своих крыльях Аниту.

В холле аэровокзала я взяла в автомате входной билет. Внутри было многолюдно, шумно, и мне стало не по себе. Я поднялась на эскалаторе на верхнюю террасу. По взлетной полосе бежал белый с голубой полосой «боинг» компании «Эр-Франс», какие-то люди в канареечно-желтых комбинезонах сутились на поле. Пассажиры цепочкой послушно шли к большому самолету, а один из летчиков, засунув руки в карманы, бродил взад и вперед, подбивая ногой камешек.

Потом я спустилась этажом ниже и поискала глазами этого летчика, но его уже не было – должно быть, он поднялся в самолет. Некоторое время я разглядывала забавные безделушки, выставленные в витринах, но самым забавным мне показалось мое собственное неясное отражение в стекле: какая-то девушка в белом костюме с золотистыми волосами. Нет, это не я. Купив «Франс Суар», я зашла в бар и попыталась прочитать хотя бы заголовки, напечатанные крупным шрифтом: раз десять я прочла, что кто-то совершил что-то, но кто и что – так и не поняла. Я выпила «Дюбоннэ» с водкой, выкурила сигарету. Люди вставали из-за столиков, брали сдачу и улетали на другой конец света. Было ли мне хорошо или плохо – уже не помню. Я заказала второй бокал, затем третий, я говорила себе: «Дуреха, уж не собираешься ли ты участвовать в автомобильных гонках со столкновениями? Чего ты доби- ваешься, собственно говоря?» И я убеждена, что уже тогда знала, чего хочу.

Правда, это еще не было чем-то ясным, определенным, просто какой-то зуд в голове, какое-то смутное беспокойство, тревога, что ли. Я слушала, как из громкоговорителя приглушенный, почти интимный женский голос без устали рассказывал, через какую дверь надо выйти, чтобы оказаться в Португалии или Аргентине. Я обещала себе, что когда-нибудь обязательно вернусь сюда, сяду за этот же самый столик, и еще что-то, сама не знаю что. Я расплатилась за аперитивы. Я сказала себе, что выпила их за здоровье своей Стремительной птицы. Вот и все. Потом я встала, собрала со столика сдачу и поехала к морю.

О, я не сразу призналась себе в своем намерении. Я очень здорово умею вступать в сделку с собственной совестью. Садясь в машину, я просто подумала, что ничего страшного не случится, если я часок-другой покатаюсь на ней, пусть даже Каравей узнает об этом – имею же я, в конце концов, право по дороге пообедать. Я прокачусь по Парижу, остановлюсь где-нибудь съесть бифштекс с жареной картошкой и выпить чашечку кофе, не торопясь прое- еду через Булонский лес и часа в четыре поставлю машину в сад Каравеев. Так? Так!

Я не спеша изучила все приборы на щитке. Обнаружив кнопку, с помощью которой опускался и поднимался верх, я с отвращением вспомнила о вспышке гнева Аниты. На спидометре овальной формы с крупными металлическими цифрами максимальная скорость была сто двадцать миль в час. Я прикинула, что это составляет около двухсот километров, и сказала себе: «Ну, держись, детка». Потом я заглянула в ящик для перчаток. Там оказались только квитанции об уплате штрафа на стоянках с ограничением времени, счета из гаражей и дорожные карты. Технический паспорт машины и страховой полис, которые я обнаружила в прозрачном полиэтиленовом футляре, были оформлены на какое-то акционерное общество, находящееся по тому же адресу, где жили Каравей, на Осиновой улице. Я слышала, что у него четыре подобных, в какой-то степени фиктивных акционерных общества, с помощью кото- рых он улаживает дела агентства, но я в этом ничего не смыслю, а главный бухгалтер держит все в глубокой тайне. Мне как-то стало спокойнее, когда я узнала, что машина оформлена не

на Аниту. Вещь, никому не принадлежащую – вернее, не принадлежащую определенному человеку, – позаимствовать легче.

Я вышла из машины, решив взглянуть, что находится в багажнике: тряпки, мочалка и сложенный гармошкой рекламный проспект фирмы «Тендерберд». На всякий случай я взяла его. Когда я вновь села за руль – меня привело в восторг, что он отодвигается вправо, чтобы удобнее было садиться, и снова блокируется, как только включаешь мотор, это потрясает! – я увидела, что все оборачиваются и смотрят на меня. И это были не те взгляды, какие я обычно ловлю на себе. Даже если учесть, что юбка у меня узкая и я, возможно, задрала ее выше, чем полагается. Я понимала, что это внимание ненадолго, но все же быть выделенной из толпы приятно. Так ведь? Так!

Я с королевским величием дала задний ход. Выхала со стоянки, сделала изящный разворот около аэровокзала и у первого же перекрестка остановилась. Одна стрелка указывала направление на Париж, другая – на Юг. Чтобы дать себе время подумать, я достала косынку и повязала ею голову. Сзади кто-то из водителей просигналил. Я махнула рукой, посылая к черту и его и себя, и покатила на Юг. Какой смысл обедать в Париже, я это делаю каждый день! Я поеду в Милли-ла-Форе, потому что это прекрасно звучит и я никогда не была там, я закажу не бифштекс с жареной картошкой, а что-нибудь, неважно что, но совершенно сказочное, и на десерт – малину, я найду такой ресторан, где мне накроют столик в саду. Итак, все решено, но ты уже опрокинула три аперитива и будь внимательна, иначе вернешься на буксире. Но пока что я мчалась с курьерской скоростью.

Первую машину я обогнала на повороте. Я обгоняла ее как раз в тот момент, когда мы проезжали поворот на Милли-ла-Форе, и, вероятно, этим можно объяснить, почему мне пришлось продолжать путь прямо. Но и без этого я бы все равно не свернула. Руль в моих руках был приятно чуток, солнце приятно пригревало мне лицо, ветер приятно ласкал меня на поворотах, а повороты были плавны, глубокие спуски – пологи. И вся моя огромная Стремительная птица – мой друг, мой соучастник – была так тиха и так послушна, она так быстро и мягко летела по дороге среди полей, что остановить меня можно было только силой. В машинах, которые мчались в том же направлении, я видела детишек, приплюснувших носы к стеклу, уже полных предстоящими каникулами, яркие мячи на загруженных до отказа, перехваченных веревками багажниках, катящиеся на прицепах лодки со сложенными мачтами – все это ехало к морю, а взгляд парочки, который на секунду скрестился с моим, как бы говорил, что они со мной заодно. Во всяком случае, пока я ехала по автостраде, я хотела заставить себя поверить – и заставить поверить других! – что и дальше поеду вместе со всеми и, быть может, вечером мы встретимся в какой-нибудь гостинице между Балансом и Авиньоном. Чокнутая.

Когда я замедлила ход, чтобы свернуть с автострады, Матушка сказала мне: «Пожалуйста, теперь послушай меня, ты только навредишь себе этим. Отведи машину обратно». Я мысленно поклялась себе, что доеду лишь до первого ресторана, ну, до первого мало-мальски приличного, и, как только расплачусь за обед, тотчас же поверну на Париж. Матушка сказала, что она не верит мне, что это я клянусь спьяну и чем дальше, тем труднее мне будет удержаться от глупостей. На одном из указателей я увидела, что проехала пятьдесят километров. У меня тоскливо защемило сердце. Сейчас от того мгновения меня отделяет всего несколько часов, пять или шесть, но мне все кажется каким-то искаженным, таким же далеким, как сны после пробуждения.

Я остановилась у дорожного ресторанчика неподалеку от Фонтенбло. Сооружение из никеля и пластика, огромные распахнутые окна. Одно из них, почти напротив моего столика, как бы обрамляло неподвижный «тендерберд». Посетителей было мало, в основном – парочки. Когда я вошла, меня проводили внимательным взглядом – наверное, из-за машины,

а может, еще и потому, что я держалась с преувеличенной уверенностью. В ресторане было очень светло, и я не стала снимать темные очки.

Я заказала жаркое из баранины с томатами по-южному, салат из одуванчиков и полбутылки – маленьких бутылочек не было – сухого розового вина, так как розовое меня меньше пьянит, чем красное. Это по-твоему, крошка! А когда я попросила газету, мне принесли ту же «Франс Суар», которую я уже просматривала в Орли. Я больше не пыталась ее читать, лишь попробовала, не прилагая особых усилий, найти семь неточностей, нарочно допущенных художником в какой-то картинке. Занимаясь этой ерундой, я вдруг вспомнила, как, бывало, злилась на меня Анита, когда не могла отыскать всех ошибок, потом подумала о том, что у меня на счету в банке должно быть около двух тысяч франков. Я вынула из сумки свою чековую книжку, чтобы проверить. Две тысячи триста франков, но из них надо вычесть очередной взнос за телевизор и двести франков, которые я ежемесячно посылаю в приют. Вместе с тем, что было у меня в кошельке и в конверте, врученном мне сегодня утром шефом, у меня получалось, я прикинула, более трех тысяч франков. На это не проживешь целый год в гостинице «Негреско», но четыре дня – я подсчитала на пальцах: суббота, воскресенье, понедельник и вторник – я буду богатой, восхитительно богатой. Мне не очень хотелось есть, я почти все оставила на тарелке. Но вино выпила до капельки – больше, чем выпиваю порой за целую неделю.

Какая-то пара, шедшая к выходу – мужчина лет пятидесяти, с залысинами, загорелым и спокойным лицом, и молодая женщина в бежевом костюме, – остановилась у моего столика. Мужчина, улыбаясь, спросил меня, довольна ли я своей машиной. Я подняла голову, прижав указательным пальцем дужку очков к переносице, где от нее оставался след, и ответила, что, если моя машина вызовет у меня неудовольствие, я обязательно дам ему знать. Улыбка сошла с его лица, он пробормотал извинения. Я пожалела о своих воинственных словах и окликнула его. Лицо его снова озарилось улыбкой.

Не помню, что там я рассказала им о машине, но они сели за мой столик. Я доедала малину с сахаром. Они уже выпили кофе, но заказали себе еще по чашечке, чтобы иметь повод угостить меня. Они сказали, что наблюдали за мной во время обеда, что они бесспорно знают меня или, во всяком случае, где-то видели. Женщина спросила, не актриса ли я. «Ничего подобного, – ответила я, – моя специальность – реклама. У меня рекламное агентство». В таком случае, может быть, она видела меня по телевидению, где я давала интервью или в какой-нибудь другой подобной передаче? «Да, вполне вероятно». Она повернулась к мужчине, и тот сказал ей: «Видишь, я был прав». Я на Юг или уже возвращаюсь? Я ответила, что еду повидать друзей в Кап-д'Антиб, а заодно хочу уладить за праздники кое-какие дела в Ницце. Они позавидовали мне, потому что сами уже возвращались после отдыха, и дали несколько советов относительно дороги. До Монтелимара дорога еще сносная, но дальше творится что-то невообразимое: встречный поток машин, растянувшийся на несколько километров, заставил их простоять больше двух часов. Не следует также ехать через Лион, там просто гибель. Лучше всего – по автостраде номер 6, а затем через какой-то там Ла-Демил-Люн перебраться на автостраду номер 7. Я сказала: «Конечно, я так всегда и езжу». Мужчина оказался военным врачом в чине полковника. «Мой отец тоже был полковником, – заявила я, – но только немецкой армии: моя мать согрешила во время оккупации. Ну и, сами понимаете, ей обрили голову». Они сочли, что я обладаю большим чувством юмора, и, совершенно очарованные, прощаясь со мной, нацарапали свой адрес на листке из записной книжки. Я сожгла его в пепельнице, когда закуривала сигарету.

Матушка нашла, что я пьяна, что положение становится угрожающим и лучше мне уйти в туалет, пока я не разревелась. Но я не разревелась. Я решила, что верну машину во вторник вечером или даже в среду утром. На обратном пути, на станции техобслуживания, я ее вымою. Анита не из тех, кто проверяет спидометр. И никто ничего никогда не узнает.

На улице я снова закурила и прошлась по обочине дороги. Под ярким солнцем моя тень резко выделялась на земле, а когда я села в машину, сиденье было раскалено. Я поехала в Фонтенбло. Там поставила машину у тротуара, надела правую туфлю и вышла. Я купила платье, которое показалось мне красивым в витрине и которое выглядело еще лучше, когда я его примерила: из белого муслина, с воздушной юбкой. В том же магазине я приобрела ярко-желтый купальник, лифчик, две пары трусиков, бирюзовые брюки, белый пуловер с высоким воротником и без рукавов, два больших махровых полотенца и две рукавички для ванны в тон полотенцам. Вот и все. Пока мне подгоняли платье по фигуре, я перешла на другую сторону улицы и подобрала к брюкам пару босоножек с золотыми ремешками. Ни за что на свете я не вернулась бы к себе на улицу Гренель, чтобы взять все это дома. И не столько потому, что мне было жаль потерять два часа на дорогу туда и обратно, сколько из опасения, что снова начну раздумывать и тогда уж у меня не хватит мужества уехать.

Нагруженная большими бумажными пакетами с покупками, я зашла в магазин кожаных изделий, выбрала чемодан из черной кожи и все уложила в него. Мне ни капельки не хотелось подсчитывать сумму выданных мною чеков. Впрочем, я настолько привыкла контролировать себя в расходах, что у меня в голове было что-то вроде счетчика, и, если бы я потратилась так, что это могло бы сорвать мой отдых, он обязательно сработал бы.

Я поставила чемодан в багажник, но тут же пожалела, что он не рядом со мной, вынула его и положила на заднее сиденье. Часы на щитке показывали четыре. Я развернула Анитину карту дорог, прикинула, что, если я не буду нигде останавливаться до самой темноты, то смогу переночевать где-нибудь в окрестностях Шалона-сюр-Сон или, может быть, Макона. Я посмотрела в самый низ карты и прочла названия, от которых у меня трепетно забилося сердце: Оранж, Салон-де-Прованс, Марсель, Сен-Рафаэль. Повязав голову косынкой, я сняла правую туфлю и поехала.

Выезжая из Фонтенбло, я вспомнила слова полковника и спросила у цветочницы, как проехать к автострате номер 6. Я купила букетик фиалок и пристроила его у ветрового стекла. Чуть дальше, на перекрестке, я увидела нескольких жандармов на мотоциклах, которые о чем-то болтали. И в эту секунду у меня мелькнула мысль: «А вдруг Каравей вернется до конца праздников? Что-нибудь случится, и он прилетит сегодня вечером?» Я невольно замедлила ход.

Не обнаружив машины, он решит, что произошло несчастье, и, конечно же, позвонит мне (только есть ли у него мой телефон?), а не найдя меня, обратится в полицию. Я представила себе, как на все дороги сообщают мои приметы и повсюду устанавливают посты жандармов. Да нет, глупости. В отличие от меня, все нормальные люди, если говорят, что сделают то-то или то-то, так и поступают. Каравей не вернется до среды. С ним жена и ребенок, и он не станет портить им праздник. Он будет говорить дочке, чтобы она дышала глубже, катать ее на лодке по озеру. Да и зачем ему возвращаться в Париж? До среды все учреждения закрыты. В праздники ко всему подходят с иной меркой, и я – похитительница автомобиля лишь на время танцев по случаю четырнадцатого июля, так что нечего себя запугивать и делать из себя преступницу. Я увеличила скорость. Небо было ясное, густо-синее, почти лиловое, пшеничные поля словно припудрены теплым светом, солнечной пылью. Однако притихшая была тревога, которая закралась в мою душу, когда я свернула с автостреды, упорно не оставляла меня, она затаилась в самом дальнем и смутном уголке моей совести и по любому пустячному поводу, а то и вовсе без него, вдруг принималась буйствовать, словно растревоженный зверь или какое-то существо, сидящее во мне самой, которое мечется во сне.

Я проехала долину Йонны. Помню, что остановилась в Жуаньи, у бистро, чтобы купить сигареты и зайти в туалет. В бистро над стойкой висели трехцветная афиша, сообщавшая о «праздничных увеселениях», и фотографии, на которых были изображены разбитые в авто-

мобильных катастрофах грузовики. Несколько шоферов грузовиков болтали у стойки, потягивая пиво. Когда я вошла, они замолчали, а один из них, увидев, что я, выпив фруктовый сок, положила на стойку деньги, сказал хозяину, что платит за меня. Я не хотела этого, но шофер – он говорил с южным акцентом – возразил: «Не хватало еще, чтобы вы отказались», – и я взяла обратно свою мелочь. Когда я включила мотор, он вместе с приятелем вышел из бистро и, направляясь к своему грузовику, остановился около меня. Это был молодой – примерно моего возраста – черноволосый парень с беспечным видом и ослепительной улыбкой. Как на рекламе зубной пасты «Жибс». Переводя взгляд с капота машины на вырез моего костюма, он сказал мне со своим южным акцентом: «С таким мотором вы, небось, гоните вовсю». Я в знак согласия тряхнула головой. Он сказал, что в таком случае мы, к сожалению, никогда больше не встретимся. Когда я тронулась с места, он открыл дверцу своего грузовика и забрался в кабину. Помахав мне рукой, он крикнул: «Если встретимся, я вам его верну». Он что-то держал в руке, но я была уже слишком далеко, чтобы разглядеть, что именно. Я догадалась только тогда, когда посмотрела на ветровое стекло. Он ухитрился стащить у меня букетик фиалок.

После Оксера я свернула на шоссе, где еще велись дорожные работы, и погнала по нему. Я и сама не ожидала от себя такой прыти. Южнее Аваллона я снова выехала на автостраду номер 6. Солнце уже стояло не так высоко, но жара еще не спала. А мне почему-то было холодно. Голова у меня была пустая и гудела. Наверное, от возбуждения, от страха, который я испытывала, все сильнее и сильнее нажимая босой ногой на акселератор. Думаю, этим же объясняется и то преувеличенное значение, какое я придала небольшому происшествию, которое случилось вскоре. Если меня станут допрашивать, о нем не следует даже упоминать. Это только собьет всех с толку, они подумают, что у меня не все дома, и перестанут верить моим словам.

Это произошло в первой же деревушке, которую я проезжала, свернув с автострады. Верно, мне она показалась знакомой. Совершенно верно. Но ведь любая деревня с рядом серых домов, с уходящей в синее небо колокольной, с холмами на горизонте, с летним солнцем, которое вдруг ударяет тебе прямо в лицо, когда ты выезжаешь на длинную улицу – такую длинную, что у меня заболели глаза и я остановилась на две минуты, – любая такая деревня создала бы у меня впечатление, что я уже здесь бывала, но бывала давно, очень давно, слишком давно, чтобы можно было вызвать в памяти какую-нибудь связанную с нею подробность или чье-то имя.

У двери кафе, узкой, похожей на темную щель, на складном стульчике сидела худая старуха с изможденным лицом в черном фартуке. Ослепленная солнцем, я ехала очень медленно, но что-то вдруг словно подтолкнуло меня вернуться. Я увидела, что старуха машет мне рукой, зовет меня. Я остановилась у тротуара. Женщина, с трудом передвигая ноги, медленно приближалась ко мне. Я вышла из машины. Говорила она громко, хриплым, свистящим голосом астматика, и я с трудом ее понимала. Она сказала, что утром я забыла у нее свое пальто. Помню, что в руке она держала зеленые стручки гороха, а когда она сидела, у нее на коленях стояла корзинка. Я ответила, что она ошибается, я не забывала у нее никакого пальто хотя бы потому, что я никогда не была здесь. Но она стояла на своем: утром она мне подала кофе и бутерброды и она тогда уже поняла, что я не в себе, и ни капельки не удивилась, обнаружив после моего ухода на спинке стула мое пальто. Я сказала, конечно, большое спасибо, но это ошибка, и поспешно села в машину.

Она внушала мне страх. Ее глаза с какой-то злобой скользили по моему лицу. Она двинулась за мной. Она вцепилась своей морщинистой темной рукой с узловатыми пальцами в дверцу машины. Она твердила, что я пила у нее кофе и ела бутерброды, пока на станции техобслуживания «обихаживали» мою машину.

Я никак не могла вставить ключ в замок зажигания. Помимо своей воли я принялась оправдываться: утром я была в Париже, бог знает в скольких километрах отсюда, она просто спутала две похожие машины. Ее ответ, сопровождаемый отвратительной старческой улыбкой, был ужасен или, во всяком случае, в ту минуту показался мне ужасным:

– Машину-то обихаживали, я ее даже не видела, а вот вас-то я видела.

Не знаю, что на нее нашло, но я оторвала ее руку от дверцы, крикнула, чтобы она оставила меня в покое, что я ее не знаю, что она меня никогда и в глаза не видела и пусть не плетет, будто она видела меня, никогда, никогда... Тут до меня дошло, что мой крик могут услышать и другие жители деревни. Кое-кто уже смотрел в нашу сторону. Я уехала.

Вот так. Все это произошло четверть часа назад, может, чуть меньше. Я поехала прямо, стараясь думать о Матушке, о чем-нибудь успокоительном, о своей квартире, о море. Но не смогла. По левую сторону дороги я увидела станцию техобслуживания. Правда, недавно в Орли я проверила уровень горючего, стрелка была в самом верху шкалы. Сейчас она спустилась лишь наполовину, и я могла бы проехать еще много километров. Но все же я предпочла остановиться.

Механик, который подошел ко мне, до этого весело болтал о чем-то с двумя автомобилистами. На нем не было ни форменной фуражки, ни спецовки. Я направилась к белому домику, сняла косынку. Помню скрип гравия у меня под ногами и особенно отчетливо – солнечные блики, пробивавшиеся сквозь листву деревьев на холмах. Внутри было сумрачно, тепло и тихо. Я причесалась, отвернула кран умывальника. И вот тут мое второе «я», мой страх, дремавший во мне, пробудился и стал кричать, кричать что было мочи. Меня схватили сзади, да так неожиданно, что я не успела даже шевельнуться, и хладнокровно, упорно – я знаю, да, я знаю, за какое-то бесконечное мгновение я это поняла и умоляла, умоляла не делать этого – мне стали ломать руку.

Автомобиль

Мануэль мог бы абсолютно точно сказать им, что это была за машина – «тендерберд» последней модели, весь напичканный всевозможной автоматикой, V-образный восьмицилиндровый двигатель в 300 лошадиных сил, максимальная скорость – 120 миль, емкость бензобака – 100 литров. Мануэль имел дело с автомобилями с четырнадцати лет – а сейчас ему уже под сорок – и интересовался всем, что мчится на четырех колесах, не меньше, чем теми, кто ходит на двух ногах и высоких каблуках. Читал он только «Автомобильный аргус» и проспекты с рекламой женской косметики, которые лежали обычно на стойке в аптеке.

В Америке он, демонстрируя свои познания, хотя бы получал удовольствие. Там вас слушают. Даже если вы плохо говорите по-английски и целую вечность подбираете нужное слово. Мануэль, баск по национальности, всю свою молодость проработал в Америке, главным образом, в Толедо, штат Огайо. У него и сейчас живет там брат, старший и самый любимый. Об Америке Мануэль тосковал в основном из-за брата и еще из-за рыжеволосой девушки-ирландки, с которой он катался на лодке по реке Моми во время праздника, организованного баскской колонией. В общем-то, между ними ничего не было, если не считать, что однажды она зашла к нему в комнату, а он попытался залезть рукой к ней под юбку, но она быстро поставила его на место.

Когда он жил в Толедо, у него было много любовниц, в основном женщины легкого поведения или замужние дамы, и он вспоминал о них без всякой грусти. Теперь он пытался убедить себя, что тогда был слишком горяч и нетерпелив и что, если бы он приложил немножко усилий, Морин, как и другие, была бы его. В память о том празднике на реке он называл ее Морин, потому что это звучит почти как Моми и походит на ирландское имя, но как ее звали на самом деле, он позабыл. А может, она вовсе и не ирландка. Порою, когда вино вгоняет его в тоску, он даже начинает сомневаться, была ли она в самом деле рыжая. Дочь своей жены – девочке было два года, когда он стал ее папой, – он тоже нарек Морин, но все называли ее Момо или Рири, даже школьная учительница, и он ничего не мог с этим поделать. Так вот всегда в жизни и бывает: как ни припрятывай корочку хлеба, у тебя обязательно ухитрятся ее утащить.

Мануэль не любил навязываться кому-либо со своими рассуждениями, тем более клиентам, он по опыту знал, что владелец французской машины спрашивает вас об американской лишь для того, чтобы узнать, сколько она стоит. А техническая сторона француза не интересует, он обычно уже заранее убежден, что с этой точки зрения она не стоит ничего. Это, естественно, не относится к знатокам, но те и не задают вопросов, они сами задурят вам голову, расхваливая машину. Вот почему Мануэль, когда его спросили о «тендерберде» с золотисто-песочными сиденьями, кратко ответил:

– Она должна стоять не меньше пяти тысяч монет. Сущие пустяки.

Мануэль наполнил бак бензином и теперь протирал ветровое стекло. Рядом с ним стояли местный виноградарь Шарль Болю и агент по продаже недвижимого имущества из Солье, долговязый и худой обладатель малолитражки, который заезжал на станцию три раза в неделю, но имени его Мануэль не знал. Как раз в эту минуту они услышали крик. Мануэль, как и его собеседники, несколько долгих секунд стоял, застыв на месте, хотя он, пожалуй, не мог бы сказать, что это его так уж удивило. Во всяком случае, меньше, чем если бы это произошло с другой женщиной.

Когда он увидел эту молодую даму, он почему-то сразу подумал, что она немножко не в себе. Может, дело тут было в ее темных очках, ее немногословности (она произнесла всего одну-две фразы, самые необходимые) или в той немного небрежной, усталой манере во время ходьбы склонять голову набок. У нее была очень красивая, очень своеобразная

походка: когда она шла, казалось, что ее длинные ноги начинаются у талии. Глядя на нее, Мануэль невольно подумал о раненом животном, хотя затруднился бы сказать, на кого она больше походила – на дикую кошку или антилопу, но явно на животное, вырвавшееся из ночного мрака, потому что под светлыми волосами дамы угадывались темные, мрачные мысли.

И вот в сопровождении троих мужчин она идет к конторе Мануэля. Когда они выходили из туалета, мужчины хотели взять ее под руки, но она отстранилась. Она уже не плакала. Она прижимала к груди раздувшуюся руку с широкой синеватой полосой на ладони. И сейчас у нее была все та же плавная походка. Мануэль смотрел на ее правильный, словно окаменевший профиль с коротким прямым носом и крепко сжатыми губами. Даже несмотря на выпачканный в пыли белый костюм и немного растрепавшиеся волосы, для Мануэля она была олицетворением изящного животного, принадлежащего какому-нибудь господину с туго набитым кошельком.

Мануэль почувствовал себя слегка уязвленным, понимая, что такую женщину ему не обольстить, да и вообще, такие – не для него. Но еще больше его огорчало другое. На пороге дома, рядом со своей матерью, стояла и смотрела на них девочка. Мануэль предпочел бы, чтобы она этого не видела. Ей было семь лет, и, хотя Мануэль ни на минуту не забывал, что она ему не родная дочь, он все же больше всего на свете дорожил этой девочкой. И она платила ему тем же. Она даже восхищалась им, потому что, когда у отцов ее школьных подружек что-нибудь не ладилось с мотором, они смиренно обращались к нему, а уж его руки умели все наладить и исправить. И сейчас Мануэлю было неприятно, что девочка видит его таким растерянным.

В конторе он усадил даму из «тендерберда» у широкого окна. Все молчали. Мануэль не осмелился отослать девочку, боясь, что она на него обидится. Он пошел в кухню, достал из стенового шкафа бутылку коньяка, а из раковины – чистую рюмку. Миэтта, его жена, вошла вслед за ним.

– Что случилось?

– Ничего. Я сам не знаю.

Прежде чем вернуться в контору, он хлебнул коньяку прямо из горлышка. Миэтта не упустила случая сказать ему, что он слишком много пьет, на что он по-баскски ответил, что благодаря этому он скорее умрет и она сможет еще раз выйти замуж. Первым мужем Миэтты был какой-то испанец, о нем Мануэль не желал даже слышать. Но это была не ревность. Жену он не любил, а может, просто перестал любить. Иногда ему вдруг приходило в голову, что она наставляла рога своему испанцу и девочка родилась неизвестно от кого.

Мануэль налил полрюмки коньяку и поставил на обитый железом стол конторы. Все молча смотрели на рюмку. Дама из машины лишь отрицательно помотала головой. Мануэлю неприятно было начинать разговор, главным образом из-за девочки и еще потому, что он знал: его баскский акцент вообще вызывает удивление, а в такой момент он покажется просто смешным. И тогда он решил предотвратить удар и, раздраженно взмахнув рукой, сказал:

– Вы уверяете, что на вас напали. Но ведь здесь никого больше не было. Вот – кто был, тот и остался. Лично я, мадам, не знаю, почему вы говорите, будто на вас напали, просто не знаю.

Она смотрела на него через свои темные очки, и он не видел ее глаз. Болю и агент по продаже недвижимого имущества по-прежнему молчали. Наверное, они думали, что она эпилептичка или что-нибудь в этом роде, и им было не по себе. Но Мануэль знал, что это не так. Однажды ночью, как раз в тот год, когда он приехал во Францию, у него на станции техобслуживания под Тулузой украли сумку с инструментом. И сейчас ему казалось, хотя он и не смог бы объяснить почему, что он опять влип в какую-то историю.

– Кто-то туда вошел, – утверждала дама. – Вы должны были его увидеть, ведь вы стояли неподалеку.

Говорила она так же неторопливо, как и ходила, но голос звучал четко, в нем не чувствовалось никакого волнения.

– Если бы кто-нибудь вошел, мы, конечно, увидели бы, – согласился Мануэль. – Но в том-то и дело, мадам, что никто, никто туда не входил.

Она повернулась к Болю и агенту. Болю пожал плечами.

– Не станете же вы утверждать, что это был кто-то из нас? – спросил Мануэль.

– Не знаю. Я вас в первый раз вижу.

Все трое от неожиданности онемели и с глупым видом уставились на нее. Предчувствие Мануэля, что снова на него надвигаются какие-то неприятности, как тогда под Тулузой, еще более усилилось. Правда, его успокаивало то, что он не покидал своих клиентов все время, пока она была в туалете (сколько это длилось – минут пять, шесть?), но по наступившей вдруг зловещей тишине он понял, что и они насторожились. Тишину нарушил агент.

– Может, вашей жене следовало бы увести девочку? – обратился он к Мануэлю.

Мануэль по-баскски сказал жене, что Рири нечего здесь делать, да и сама она, если не хочет получить такую взбучку, о которой долго будет помнить, пусть лучше пойдет подышать свежим воздухом. Жена ответила ему, тоже по-баскски, что он ее просто-напросто изнасиловал, ее, вдову изумительного человека, изнасиловал, даже не сняв с нее траурного платья, и поэтому ее ничуть не удивляет, что он так же поступил с другой женщиной. Но все же она вышла, уводя девочку, которая, обернувшись, переводила взгляд с дамы на Мануэля, пытаясь понять, кого в чем обвиняют.

– Никто из нас троих туда не входил, – проговорил Болю, обращаясь к даме, – не утверждайте того, чего не было.

У большого, тучного Болю и голос был под стать. Когда в деревенском кабачке играли в карты, его голос всегда гремел громче всех. Мануэль нашел, что Болю сказал именно то, что надо. Нечего возводить на них напраслину.

– У вас украли деньги? – спросил Болю.

Дама отрицательно мотнула головой и сделала это не задумываясь, без колебаний. Мануэль все меньше и меньше понимал, к чему она клонит.

– Как же так? Ради чего же на вас напали?

– Я не сказала – напали.

– Но именно это вы хотели сказать, – возразил Болю и сделал шаг в сторону дамы.

И вдруг Мануэль увидел, как она изо всех сил прижалась к спинке стула, и понял, что она боится. Из-под ее очков выкатились две слезинки и медленно поползли по щекам, оставляя на них полоски. На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мануэль испытывал какое-то странное чувство неловкости и возбуждения. Ему тоже хотелось подойти к ней, но он не решался.

– И вообще, снимите очки, – продолжал Болю. Я не люблю разговаривать с людьми, когда не вижу

И Мануэль, наверное, и агент, да, пожалуй, и сам Болю, который нарочито преувеличивал свой гнев, чтобы казаться грозным, могли поклясться, что она не снимет очков. Но она сняла их. Она сделала это сразу же, словно испугалась, что ее силой заставят повиноваться, и на Мануэля это произвело такое же впечатление, как если бы она перед ним разделась. У нее были большие печальные глаза, совершенно беспомощные, видно было, что она с трудом сдерживает слезы. И честное слово, черт побери, без очков она выглядела еще более привлекательной и безоружной.

Видимо, и на остальных она произвела такое же впечатление, так как снова воцарилось тягостное молчание. Потом, не говоря ни слова, она подняла вдруг свою раздувшуюся руку и показала ее мужчинам. И тут Мануэль, которого она с трудом различала без очков, отстранив Болю, шагнул к ней:

– Это? – спросил он. – Ну нет! Вы не посмеете сказать, что это вам сделали здесь! Сегодня утром это уже было!

И в то же время он подумал: «Какая-то чушь!» Только что он был уверен, что разгадал подоплеку этой комедии – просто его хотят одурачить, – и вот сейчас ему в голову пришел один довод, который опрокинул все. Если она, предположим, и вправду хотела заставить их поверить, что ее покалечили здесь, у Мануэля, и вытянуть у него некоторую сумму, пообещав не сообщать об этом полиции (но уж он-то не попался бы на эту удочку, хотя и побывал однажды в тюрьме), какого же черта она примчалась сюда утром с уже сломанной рукой.

– Это неправда.

Неистово трясая головой, она порывалась встать. Болю пришлось помочь Мануэлю удержать ее. В вырез ее костюма было видно, что на ней нет комбинации, а только белый кружевной лифчик, и что кожа у нее на груди такая же золотистая, как и на лице. Наконец она отказалась от мысли встать, и Мануэль с Болю отошли в сторону. Надевая очки, она продолжала твердить, что это неправда.

– Что? Что неправда?

– Сегодня утром у меня ничего не было с рукой. А если бы даже и было, то вы не могли бы этого увидеть, я находилась в Париже.

Ее голос снова зазвучал звонко, а в манере держаться опять появилось что-то надменное. Но Мануэль понимал, что это вовсе не надменность, а лишь усилие сдержать слезы и в то же время выглядеть настоящей дамой. Она пристально разглядывала свою неподвижную левую руку и странный рубец на ладони почти у самых пальцев.

– Мадам, вы не были в Париже, – спокойно возразил Мануэль. – Вам не удастся заставить нас поверить в это. Я не знаю, чего вы добиваетесь, но никого из присутствующих вы не убедите, что я лжец.

Она подняла голову, но посмотрела не на него, а куда-то в окно. Они тоже посмотрели в окно и увидели, что Миэтта управляет какой-то грузовичок. Мануэль сказал:

– Сегодня утром я чинил задние фонари вашего «тендерберда». Там отсоединились провода.

– Неправда.

– Я никогда не говорю неправду.

Она приехала на рассвете, он пил на кухне кофе с коньяком и тут услышал гудки ее автомобиля. Когда он вышел, у нее было такое же выражение лица, как и сейчас: спокойное, но одновременно настороженное, напряженное – казалось, чуть тронь ее, и она заплачет, – и в то же время всем своим видом она как бы говорила: «Попробуйте-ка троньте, я себя в обиду не дам». Через свои темные очки она смотрела, как он засовывает полы своей пижамной куртки в брюки. Мануэль сказал ей: «Извините. Сколько вам налить?» Он думал, что ей нужен бензин, но она коротко объяснила, что не в порядке задние фонари и что она вернется за машиной через полчаса. Она взяла с сиденья белое летнее пальто и ушла.

– Вы принимаете меня за кого-то другого, – возразила дама. – Я была в Париже.

– Вот тебе и на! – сказал Мануэль. – Ни за кого другого, кроме как за вас!

– Вы могли спутать машины.

– Если уж я чинил машину, я ее не спутаю ни с какой другой, даже если они похожи как близнецы. Мадам, это вы принимаете Мануэля за кого-то другого. Больше того, могу вам сказать, что, закрепляя провода, я сменил винты и сейчас там стоят винты Мануэля, можете проверить.

Сказав это, он резко повернулся и направился к двери, но Болю удержал его за руку.

– Но ты ведь где-нибудь записал, что произвел ремонт?

– Знаешь, некогда мне заниматься всякой писаниной, – ответил Мануэль. И добавил, желая быть до конца честным: – Сам понимаешь, стану я записывать два жалких винтика, чтобы Феррант заработал еще и на них!

Феррант был сборщиком налогов, жил в той же деревне, и по вечерам они вместе пили аперитив. Будь он сейчас здесь, Мануэль сказал бы то же самое и при нем.

– Но ей-то я дал бумажку.

– Квитанцию?

– Да вроде того. Листок из записной книжки, но со штампом, все как полагается.

Она смотрела то на Болю, то на Мануэля, поддерживая правой рукой свою вздувшуюся ладонь. Наверное, ей было больно. Не видя ее глаз, трудно было понять, что она думает и чувствует.

– Во всяком случае, есть один человек, который может это подтвердить.

– Если она хочет доставить вам неприятности, сказал агент, – то ни ваша жена, ни дочь не смогут выступить свидетелями.

– Оставьте мою дочь в покое, на черта мне еще ее впутывать в эту историю. Я говорю о Пако.

Пако были владельцами одного из деревенских кафе. У них обычно завтракали дорожные рабочие с шоссе на Оксер, и мать с невесткой вставали рано, чтобы обслужить их. Туда Мануэль и послал даму в белом костюме, когда она спросила, где можно перекусить в такое время. Он был настолько поражен, что женщина одна путешествует ночью, да еще в темноте едет в черных очках (тогда он не догадался, что она близорука и скрывает это), настолько поражен, что лишь в последний момент обратил внимание на повязку на ее левой руке, белевшую в сумраке занимающегося утра.

– Мне больно, – сказала дама. – Дайте мне уехать. Я хочу показаться врачу.

– Минутку, – остановил ее Мануэль. – Простите меня, но вы были у Пако, они это подтвердят. Я сейчас позвоню им.

– Это кафе? – спросила дама.

– Совершенно верно.

– Они тоже спутали.

Наступила тишина. Дама сидела не двигаясь и смотрела на мужчин. Если бы они могли видеть ее глаза, они прочли бы в них упорство, но они не видели их, и Мануэль вдруг окончательно поверил, что у нее не все дома, что она действительно не желает ему зла, просто она ненормальная. И он сказал ей ласковым голосом, удивившим его самого:

– Сегодня утром у вас на руке была повязка, уверяю вас.

– Но сейчас, когда я приехала сюда, у меня же ничего не было!

– Не было? – Мануэль вопросительно посмотрел на мужчин. Те пожали плечами.

– Мы не обратили внимания. Но какое это имеет значение, если я говорю вам, что сегодня утром ваша рука была забинтована.

– Это была не я.

– Ну так зачем же вы снова приехали сюда?

– Не знаю. Я не снова приехала. Не знаю.

По ее щекам опять покатались две слезинки.

– Дайте мне уехать. Я хочу показаться доктору.

– Я сам отвезу вас к доктору, – сказал Мануэль.

– Не трудитесь.

– Я должен знать, что вы там ему наговорите. Надеюсь, вы не собираетесь причинять мне неприятности?

Она с раздражением мотнула головой: «Да нет же!» – и поднялась. На этот раз они отступили.

– Вот вы говорите, будто я спутал, и Пако спутал, и все спутали, – сказал Мануэль. – Я никак не могу понять, чего вы добиваетесь.

– Оставь ее в покое, – вмешался Болю.

Когда они все вышли – впереди она, за нею агент по продаже недвижимости, затем Болю и Мануэль, они увидели, что у бензоколонок собралось много машин. Миэтта, которая никогда не была слишком расторопной, буквально разрывалась между ними. Девочка играла с детьми на куче песка у шоссе. Увидев, что Мануэль садится вместе с дамой из Парижа в свой старый «фрегат», она, размахивая ручками, подбежала к нему. Личико у нее было в песке.

– Иди играй, – сказал ей Мануэль. – Я только съезжу в деревню и скоро вернусь.

Но девочка не ушла, а молча стояла у дверцы машины, пока он прогревал мотор. Она не спускала глаз с дамы, сидевшей рядом с Мануэлем. Разворачиваясь у бензоколонки, Мануэль заметил, что агент и Болю уже рассказывают о происшествии собравшимся автомобилистам. В зеркальце машины было видно, что все они смотрят ему вслед.

Солнце зашло за холмы, но Мануэль знал, что скоро оно снова выкатится с другой стороны деревни и будет как бы второй закат. Чтобы прервать тягостное для него молчание, он рассказал об этом даме. «Верно, поэтому деревня и называется Аваллон–Два заката». Но, судя по ее отсутствующему виду, она его не слушала.

Мануэль отвез ее к доктору Тара, кабинет которого находился на церковной площади. Доктор был старый, очень высокий и могучий как дуб человек, уже много лет носивший один и тот же шевиотовый костюм. Мануэль хорошо знал его, доктор был неплохим охотником, как и Мануэль, считал себя социалистом и иногда одалживал у Мануэля его «фрегат» для визитов к пациентам, когда у его малолитражки – переднеприводная модель, выпуск сорок восьмого года – бывала «сердечная одышка», как он это называл. В действительности же, несмотря на многочисленные притирки клапанов, у нее уже не было ни сердца, ни каких-либо других органов, и она не смогла бы своим ходом доехать даже до свалки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.